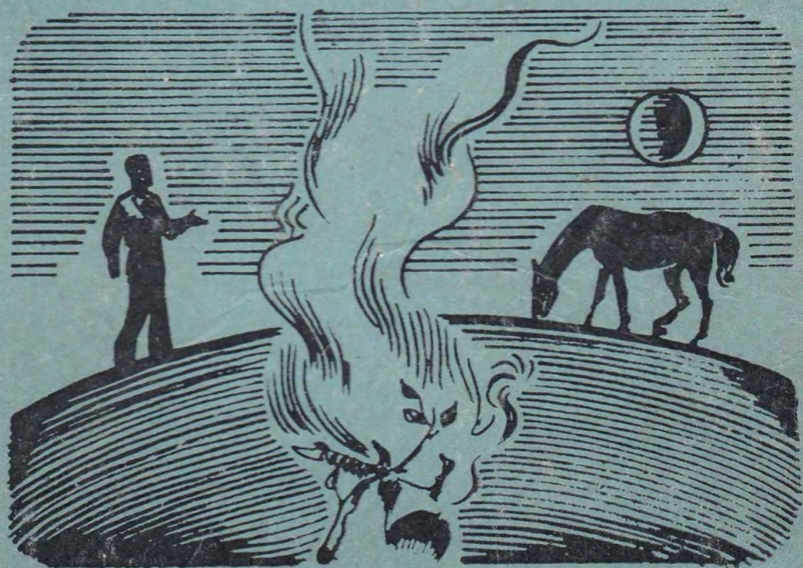




В. Ф. НАСЕДКИН

Ветер с поля



влад

Scan Kreyder - 01.09.2019 - STERLITAMAK

БАШКИРСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО





В.Ф. НАСЕДКИН

Ветер с поля

Стихи, воспоминания о Есенине

Редакционная коллегия:

*Бикчентаев А. Г., Паль Р. В., Рахимкулов М. Г.,
Сафуанов С. Г., Филиппов А. П., Чванов М. А.*

Предисловие, составление и комментарий
М. А. Чванова

Наседкин В. Ф.

Н 31 Ветер с поля. Стихи. Воспоминания о
С. А. Есенине. Уфа, Башкирское книж-
ное издательство, 1978.

160 с.
(Серия: Золотые родники)

Стихи и воспоминания о Есенине известного советско-го поэта В. Ф. Наседкина, уроженца Башкирии. В канун Октября поэт по заданию партии большевиков вел большую пропагандистскую работу в воинских частях. В дни революции участвовал во взятии Московского телеграфа, телефонной станции, Кремля... В годы гражданской войны — комиссар Красной Армии.

Творчество Наседкина высоко ценили В. Брюсов, С. Есенин. В сборник включено все лучшее, что поэт успел создать за свою короткую, но яркую жизнь.

Н $\frac{70402-497}{М 121 (03)-78}$ 96—78

Р2

© Башкирское книжное издательство, предисловие, составление, оформление, 1978 г.

«ТО, ЧТО СОЕДИНЯЕТ ЛЮДЕЙ, НЕ РАЗМЫВАЕТ ВРЕМЯ...»

Я не слышал роднее клича
С детских лет, когда вдали
По заре степной, курлыча,
Пролетали журавли.

.

Вот вчера, в час вешней лени,
Вдруг на небе, как штрихи,
И от них такое пенье...
Будто вновь Сергей Есенин
Мне читал свои стихи.

В. Наседкин

Несколько лет назад,—после поездки на северо-восток Башкирии, в Мечетлинский район,—я написал очерк «Башкирская Рязань». Была лучшая в году пора — бабье лето, и, очарованный тихим и желтым от тишины краем, я писал: «...мне казалось, что никакой Рязани и не существует, и писал Есенин совсем не о ней, а об этих вот мечетлинских перелесках, о здешних кобылах, ржущих в синюю стын, о разбойничьем посвисте башкирских ветров, о золоте здешних полей».

Признаюсь: тогда за этими строчками ничего не стояло, ну, может, более или менее удачный художественный образ. Тогда я даже не подозревал, что в них была большая доля правды.

Если я скажу, что прообразами знаменитым есенинским «Письмам» — к матери и от матери, к деду — послужили не только мать самого Есенина и рязанское село Константиново, но и в какой-то степени мать-крестьянка из башкирских степей и деревня Веровка, затевшаяся в этих степях, несомненно, кое-кто снисходительно улыбнется. Но прошу вас: не торопитесь с выводами.

Один из друзей подарил мне в день рождения сборник стихов, вышедший в 1968 году в издательстве «Советская Россия». Назывался сборник «Ветер с поля». Имя автора — В. Наседкин — мне было незнакомо. Я положил книгу на полку и забыл о ней. Но как-то, собираясь в командировку, вспомнил и взял с собой. В вагоне раскрыл книгу. Стихи были несколько грустные, но в то же время какие-то безыскусные, чистые, сочные:

И мирный свет, и шорох древней воли.
В ногах — земля, и месяц — под рукой.
Глухой костер в туманно-синем поле
И долгих песен эхо над рекой.

Взгляд грустного смущения и боли
И горького раздумья над строкой.
Горит костер в туманно-синем поле,
Сжигая эхо песни над рекой.

Или вот еще одно, совсем короткое:

Ребенок я — и степь как бубенец.
Я — юноша. Минута и — отец.
И вот теперь я под руку с бедой,
Пред целым миром голый и седой.

Но вдруг в стихах начинала звенеть торжественная и тревожная медь:

Я посмотрел на запад. Там
В батальных, но высоких красках
Сияло небо. Словно где-то
Горели яро хутора
И в дым пылающих построек
Ржал ветер и бросал их пламя
В седую высь...

А вот эти, «космические» стихи написаны в 1924 году — почти девять лет по России металась война, в стране разруха, и мозги миллионов людей сверлила мысль о хлебе насущном:

Дорогой неотмеченной, разбитой,
Плывет земля, как миллионы лет,
А с ней и мы по выгнутой орбите,
Напоминая скопища планет,
Смешных планет, как птицы у застрехи,
И слепо пропускающих во тьму
Вселенские сторожевые вехи.
Не это ль горько сердцу моему,
Что на пути великом и безмерном
Ведем себя, как у двери пещерной?

Потом было еще одно стихотворение — о простом и великом обычае: демобилизующимся фронтовикам-красноармейцам перед торжественно выстроившимся полком взамен винтовки вручают косу.

Поэт заинтересовал меня, но было недоумение, почему я не знал о нем раньше. Заглянул в предисловие, оказалось, вина моя не столь велика: последний прижизненный сборник поэта вышел в 1933 году...

Вернувшись в Уфу, нашел в библиотеке еще один сборник поэта, и в предисловии, написанном П. И. Чагиным, который, как известно, был одним из близких друзей Сергея Есенина, прочел: «В двадцатых и в начале тридцатых годов довольно часто можно было встретить на страницах наших литературных журналов стихи за подписью:

В. Наседкин. Они привлекали внимание теплом, душевным лиризмом... Любимым пейзажам вторили в его стихах воспоминания о детстве, проведенном в деревне... Наседкин считался в начале тридцатых годов одним из лучших, способнейших учеников в Литературном институте, которым руководил Валерий Брюсов. Это отмечал и сам Брюсов, внимательно следивший за творчеством молодого поэта, и С. Есенин, его старший брат и в то же время, можно сказать, «крестный отец».

А еще в предисловии я прочел: «Родился Василий Федорович Наседкин в 1894 году в деревне Веровка бывшей Уфимской губернии. После сельской школы учился в Стерлитамаке в четырехгодичной учительской семинарии».

Опять, только уже другими глазами — глазами земляка — вчитываюсь в стихи. Почти в каждом нахожу Башкирию. Но одно стихотворение — «Гнедые стихи» — вызвало странное чувство. Темой, душевным настроем оно очень уж напоминало знаменитый есенинский цикл «Писем» в деревню и из деревни.

Снова и снова перечитываю те и другие стихи. Сходство между ними несомненно. К тому же оба написаны в одно время — в 1924 году. Что это? Слепое подражание Есенину?

Начинаю перечитывать все написанное о Есенине: воспоминания, письма его друзей, критические статьи, письма самого Есенина. Безуспешно. Фамилия Наседкина иногда встречалась, но просто в перечислении других фамилий. Много раз мне на глаза попадалась известная фотография 1925 года: «Слева направо: В. Наседкин, Е. Есенин, А. Есенин. А. Сахаров, С. Есенин, С. Толстая». Но и она не давала ответа на возникший вопрос, хотя надежду подогревала: фотография-то семейная, значит, Есенин и Наседкина связывали более крепкие узы, чем просто знакомство? Перечитываю воспоминания людей, сфотографировавшихся вместе с Есениным. И вот у его сестры, Екатерины Александровны, нахожу:

«В начале 1924 года в журнале «Красная новь» Наседкин встретился с Есениным и тут же был приглашен к нему на обед. Я сестра С. А. Есенина, меня не удивило новое лицо за нашим обедом, но удивило другое: этот поэт, товарищ Сергея по университету Шаняевского и ровесник его, явно стеснялся Есенина, когда читал ему свои стихи. Лицо его покрылось красными пятнами. Сергей сидел, опустив низко голову, чтобы не смущать товарища, и хвалил стихи Наседкина, особенно стихотворение «Гнедые стихи»... Есенин почти три года не был в своей деревне. «Я последний поэт деревни» — было его прощальное стихотворение. Но, черт возьми, деревня-то жива! Встреча с Наседкиным очень обрадовала Есенина, и одна из первых работ после встречи с Наседкиным называлась «Письмо к матери»: «Ты жива

еще, моя старушка?..» Форма писем в стихах Есенина навеяна Наседкиным».

А вот еще несколько строк из воспоминаний Екатерины Александровны, которые еще сильнее заставили биться мое сердце:

«Наседкин был самым близким другом для Есенина. Встречи и разговоры с ним давали возможность лучше и острее чувствовать прошедшие годы революции и все события тех лет».

Талантливый советский поэт, друг Есенина, к тому еще человек, которому, возможно, мы в какой-то степени обязаны тем, что был написан целый цикл стихов великого поэта, — наш земляк. Немедленно же найти деревню, в которой Есенин, скорее всего, никогда не был, но, может быть, только благодаря которой и появились эти удивительные стихи. С линейкой — сантиметр за сантиметром — изучаю карту Башкирии: ни в одном районе республики деревни Веровки нет. Десятки Александровок, Михайловок, Ивановок — и ни одной Веровки. Звоню в Стерлантамак, Мелеуз, Ишмбай, Федоровку, в другие районные центры — нет такой деревни. Остается одна надежда — искать на старых картах. Может, в последние годы деревни не стало, и все забыли о ней. Так и есть: на старой карте Башкирии мелким шрифтом на территории Федоровского района на речке Сухайле — Веровка.

Снова звоню в Федоровку.

— Да, оказывается, есть. По крайней мере лет семь назад была. Кажется, несколько семей еще живут.

В оставшиеся перед отъездом в Веровку вечера сижу в республиканской библиотеке — перелистываю десятки книг, старых журналов и газет, в которых надеюсь что-нибудь найти о Наседкине. Пишу письма, звоню по междугороднему телефону. Собираю по крупинцам страницы неосторожно рассыпанной человеческой жизни. За окном то ветер, то дождь. Все мы тысячи раз в жизни видели дождь, но только один человек из нас смог его увидеть вот таким:

Где-то далеко сети
Дождь распустил (как снится!).
Это танцуют дети,
Те, что должны родиться.

И уже только за это мы должны ему быть благодарны.

Скупые и отрывочные, разорванные пустотой сведения, которые удалось узнать от родственников Василия Федоровича Наседкина, в архивах, от людей, близко знавших его, найти в воспоминаниях о Есенине, в письмах его современников, в книге самого Наседкина «Последний год Есенина», изданной в 1927 году и ставшей теперь библиографической редкостью, — собираю вместе.

Василий Федорович Наседкин родился, как и Есенин, в 1895 году, 13 января (П. И. Чагин, указывая 1894 год, имел в виду старый стиль) и тоже в крестьянской семье. Дружил с башкирскими ребятишками, потому свободно говорил по-башкирски. Окончил приходскую школу. Ему хотелось учиться дальше, но отец не хотел отпускать его от себя и отказал в средствах на обучение. Тогда Василий ушел из дому. Жил впроголодь. Тем не менее окончил в Стерлитамаке учительскую семинарию. В 1913 году едет в Москву и поступает на физико-математический факультет Московского университета, подрабатывает репетиторством.

В это время среди студентов Московского университета все большее распространение получают идеи большевиков, и Наседкин скоро становится членом РСДРП. Неудовлетворенный учебой в Московском университете, он переходит в университет имени Шанявского, который в то время был одним из лучших учебных заведений страны. Как поэт Наседкин уже известен среди однокурсников, к этому времени и относится его знакомство с Сергеем Есениным. Вспоминает однокурсник Есенина и Наседкина по университету Шанявского Б. А. Сорокин:

«В скверике я жду Васю Наседкина, чтобы пойти в большую аудиторию на лекцию профессора Айхенвальда. С Васей мы живем в комнате неказистого домишка в одном из переулков около Мнусской площади. Он приехал из Башкирии. Пишет стихи. В них много солнца, ветра, тихой грусти к людям бедных деревень, разбросанных в неоглядных просторах пахучих степей. Спим мы на одной кровати, и иногда по ночам он будит меня и читает свои стихи.

— А, вот ты где? — подходя, еще издали говорит Наседкин. С ним стройный, в сером пиджаке паренек. — Познакомься, это Сергей Есенин, наш шанявец, первокурсник. Пишет стихи. Из Рязани».

Ровесники, выходя из патриархальных крестьянских семей, — одни из Рязани, другой из Башкирии, — оба без средств на существование отправившиеся в столицу ловить поэтическую «жар-птицу», Есенин и Наседкин подружились. Жил в то время Есенин далеко от университета, в Замоскворечье, и поэтому после занятий, особенно в плохую погоду, часто заходил к жившим недалеко от университета Наседкину и Сорокину. Вот еще несколько строк из воспоминаний Сорокина:

«За окном сыро, а у нас на столе кипит самовар, и мы втроем — Наседкин, я и Есенин — пьем чай... Отхлебывая маленькими глотками чай, Есенин, повернув голову к окну, настроженно слушает стихи Наседкина. Они певучи и солнечны, и кажется, что в комнату входит веселый летний день.

— Хорошо, Василий, — говорит он. — Твои стихи близки мне,

но у тебя степи, а у меня приокский край, мещерская глухомань, березы и рябины. У вас в Башкирии и ветел-то, должно, нет? А у нас без ветел не обходится ни одно село...»

В 1915 году по совету большевиков Наседкин оставляет университет Шанявского и уходит добровольцем на фронт: для пропагандистской работы среди солдат. Примерно в это же время уходит из университета и Есенин.

Но в армии Наседкин прослужил недолго. Его направляют учиться в юнкерское училище. И здесь по заданию большевиков он продолжает пропагандистскую работу. В 1936 году под впечатлением встречи со старым боевым другом М. А. Розенштейном, который в последний год перед революцией был партийным организатором в в Благуше-Лефортовском районе Москвы, Наседкин написал стихотворение «Встреча» с посвящением: «Красногвардейцу М. А. Розенштейну». М. А. Розенштейну принадлежат вот эти слова:

«В нашем районе находились части телеграфно-прожекторного полка, три роты и учебная команда, имевшие довольно хорошую парторганизацию, руководимую солдатами, окончившими полковую учебную команду, во время прохождения которой среди них велась усиленная партийная работа товарищем Наседкиным. Идеи нашей партии были разнесены ими по всем ротам полка. Партийная работа в воинских частях оправдала себя в октябрьско-ноябрьские дни, — и эти воинские части сыграли значительную роль в решающий момент».

В дни революции Наседкин руководит юнкерами, перешедшими на сторону Советов, и совместно с солдатами телеграфно-прожекторного полка участвует в захвате телеграфа, почты, телефонной станции и Кремля. Он — член полкового комитета, потом его назначают комиссаром полка. С 1918 по 1920 год Наседкин в Красной Армии. В 1920 году послан в Туркестан на борьбу с басмачами. Так у него началось знакомство с Востоком:

Травы реже.
Дымились барханы кой-где.
Поезд громко кому-то кричал о свиданье,
И шипели пески, будто в черной беде,
Уползая с крыльца станционного зданья.

Возвращается Наседкин из Туркестана только в 1923 году. Демобилизовавшись из армии, поступает в Литературный институт Брюсова, одновременно работает редактором в журнале «Город и деревня». В 1924 году вновь встречается с Есениным. Вот так он сам описывает эту встречу:

«Как-то в конце лета я встретился в «Красной нови» с одним из знакомых, и по давней привычке запели народные песни. Во время

пения в редакцию вошел Есенин. Пели с полчаса, выбирая наиболее интересные и многим совсем неизвестные старинные песни. Имея слушателем такого любителя песен, как Есенин, мы старались вовсю.

Есенин слушал с большим вниманием. Последняя песня «День тоскую, ночь горюю» ему понравилась больше первых, а слова

В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочки горят.
Ты гори, мое колечко,
Мое золотое...

вызвали улыбку восхищения.

Позже Есенин читал:

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи.

Опять далекие отзвуки Приуралья, его песен? Я снова обращаюсь к воспоминаниям. На этот раз слово Александре Александровне Есениной:

«Знатоки и любители народной песни находились и среди наших гостей. Среди них выделялся своим глуховатым тенором Василий Наседкин. Как сейчас вижу его, подперевшего щеку рукой, полузакрывшего глаза. И как сейчас слышу негромкую, полную тревожной печали, протяжную песню оренбургских казаков «День тоскую, ночь горюю».

Есенина и Наседкина сближали и возраст, и некоторая общность поэтических судеб, а главное — думы о будущем деревни. Мучимого душевными разногласиями Есенина тянуло к Наседкину, который тоже с грустью простился с патриархальной деревней, но, в отличие от Есенина, сразу без всяких колебаний принял новую, и не просто принял, но и утверждал ее в течение семи лет с винтовкой в руках.

Наседкин одним из первых, не в пример многочисленным мнимым друзьям великого поэта, понял истинное значение поэзии Есенина. В книге «Последний год Есенина» он писал: «С той поры, как я приобрел тонкую тетрадную книжку «Исповедь хулигана», я любил Есенина как величайшего лирика наших дней».

Но в этом была и своя обратная сторона. Если в 1915 году Наседкин и Есенин расстались подающими надежды крестьянскими юношами, то теперь перед Наседкиным был великий поэт. И ослепленный неожиданно ворвавшимся в литературу и вспыхнувшим в ней необычайно ярким, трагическим светилом, Наседкин, — сам того не создавая, на какое-то время оказался в хвосте этой стремительно несущейся к вершинам поэзии, звезды. И еще долгое время его стихи

будут светиться благородным, но все-таки чужим отраженным светом, и по-есенински будут говорить с небом, с ветром башкирские степи. Этого не мог не заметить и сам Есенин.

Вместе с Василием Наседкиным и Всеволодом Ивановым Есенин мечтает о создании нового альманаха, который они собираются назвать «Поляне». В марте 1925 года перед поездкой на Кавказ Сергей Александрович писал в Госиздат Н. Накорякову:

«...для ведения редакционных дел альманаха необходимо закрепить одного человека с соответствующей оплатой по должности заведующего редакцией и секретаря альманаха.

На эту работу редакционной коллегией предоставляется тов. Наседкин, с которым я буду поддерживать связь с Кавказа».

А за двадцать дней до этого Есенин сообщал писателю Н. К. Вержбицкому:

«Он (Ионов — М. Ч.) предлагает мне журнал издавать у него (в Ленинграде — М. Ч.), но я решил здесь, все равно возиться буду не я, а Наседкин. Я ему верю и могу подписывать свое имя, не присутствуя».

Но этим замыслам не суждено было осуществиться, как и замыслу Есенина поехать на кумыс в хорошо знакомую по рассказам Наседкина и неволью отразившуюся в его стихах Башкирию. Вот несколько хронологически последовательных выдержек из воспоминаний Александры Александровны Есениной:

«...он вернулся (Есенин с Кавказа. — М. Ч.) усталым, нервным. Дома же было как-то тихо и чуждо. Вечера мы теперь проводили одни, без посторонних людей, только свои: Сергей, Соня, Катя и Илья. Чаще других знакомых к нам заходил Наседкин и коротал с нами вечера... К нему хорошо относился Сергей, и Наседкин у нас был своим человеком. Даже 18 сентября, в день регистрации Сони и Сергея, у нас не было никого посторонних. Были все те же Илья и Василий Федорович...»

«19 декабря Катя и Наседкин зарегистрировали свой брак в загсе и сразу же сообщили об этом Сергею. Сергей был очень доволен этим сообщением, он уважал Василия Федоровича и сам всегда советовал сестре выйти за него замуж. И тогда ими всеми вместе было принято решение, что и Наседкин поедет в Ленинград и будет жить вместе с нами».

И вот последний, трагический день:

«На улице еще бушевала метель. Часов в одиннадцать парочный с почты принес нам первуюстораживающую телеграмму: «Сергей болен еду Ленинград Наседкин».

Сергей болен. Что могло случиться с ним за 5 дней, в течение которых мы не видели его? Стало тревожно, но успокаивало то, что рядом с ним Василий Федорович, свой человек».

Давая эту телеграмму, Наседкин уже знал о смерти Есенина, но сразу не решился сообщить об этом родным.

А эти слова принадлежат Екатерине Александровне Есениной:

«Смерть Есенина была тяжелой утратой для Наседкина. Он всегда верил, что поэзия Есенина будет жить долго. Он тщательно собирает материалы к биографии Есенина, пишет воспоминания о нем. Собранные им материалы, письма Есенина к Панфилову, ранние стихи, все документы о его образовании и написанные им лично материалы в настоящее время служат основным источником к биографии Есенина».

...В 1927 году выходит в свет первая книга стихов Наседкина, которую он назвал «Теплый говор». В стихах был теплый говор ржи и предчувствие счастья. Второй сборник — «Ветер с поля» — появился в 1931 году. В это время Наседкин работает в журнале «Колхозник», который был организован по инициативе А. М. Горького. В 1933 году был напечатан последний прижизненный сборник стихов поэта...

И вот я еду в Веровку. Туда, где

...за сизым крутым небосклоном,
Под ногой чуть заметно пыля,
Оглашаемы свистом и звоном,
Без конца пробегают поля.

В Мелеузе узнал, что деревни уже нет, ее жители разъехались или переселились в соседние деревни при укрупнении колхозов. Есть Наседкины в Ивановке, это в четырех километрах от бывшей Веровки. Еду в Ивановку. Крайний дом, что мне показали. С замиранием сердца стучу в дверь. Вышла пожилая женщина.

— Наседкин Федор из Веровки?.. — женщина окинула меня долгим внимательным взглядом. — А вы что, сродственником ему будете?

Я долго объяснял, что к чему.

— Как не знать! Ведь сродственница я ему по мужу-то. Они жили в Веровке, а мы на хуторе рядом. Шарлыцким назывался. И сына ихнего, Василия, хорошо помню. Правда, времени-то сколько утекло. В Москве он жил. Приезжал редко: то учился, то воевал. Да, белые вывели из дома его родителей, а хлеб подожгли. Раз, мол, сын у вас в комиссарах. Весь и сожгли.. Помню, приехал он как-то, в году двадцать третьем, кажется. Ходит вокруг деревни по полям, тихий такой. Все рожь руками трогает, гладит колосья.

— Что с тобой, Василий? — спрашивает мужик-то мой, покойник.

— А я три года травинки не видел, не то что поле. Пески одни.

А потом как-то помню, с женой приезжал. Тоненькая такая, как девчонка. Катей звали. Золотые руки у нее были. Полдеревни она у нас вылечила. Мать у нее мастерица в этом деле была, и она тоже травы знала. Время было тяжелое, врачей не было, она и взялась. И сестру его, Тоню, на ноги поставила, а ведь умирала совсем. Долго потом о ней добром вспоминали, в Москву ей письма писали, чтобы помогла советом. Жива ли?.. Родители? Нет их уж, милый, давно. А Веровка-то вон за пригорком. Тихо там теперь. И поля вокруг.

(Летом позапрошлого года, узнав, что Екатерина Александровна Есенина-Наседкина приболела, я завез ей в память о тех далеких днях баночку знаменитого башкирского меда: «Выздоровливайте скорей!»)

— Как же, помню, — улыбнулась она. — Всех помню. У нас еще там сын тяжело заболел. Других-то лечила, а его не уберегла, климат не пришелся ему, потому мы вскоре и уехали оттуда. И деревни все окрестные помню: Шарлыцкий хутор, Юрматы, Сыскан... И Мелеуз хорошо помню. Сергей все собирался туда в гости. Он ведь Башкирией-то давно интересовался. Еще когда собирал материал к поэме «Пугачев». Теперь вот дочь собирается поехать, посмотреть на родственников...)

На пригорке я остановился. До горизонта во все стороны с легким шорохом катились волнами зреющие хлеба — тепло говорили, и ветер посвистывал в решетке ограды на братской могиле. В ней лежали солдаты гражданской войны — одногодки, а может, даже школьные товарищи поэта и красного комиссара Василия Наседкина.

А внизу под пригорком — под знойным степным небом без единого облачка — лежала заброшенная деревня, в которой он родился, в память о которой даже в раскаленных пустынях Средней Азии ему казались «тучи соломой, дали — покатым плетнем».

В этой деревне жила когда-то похожая на сотни и тысячи других крестьянок старушка-мать. Она давным-давно сошла в могилу, конечно же, даже не подозревая о том, что ее полное материнской тревоги письмо к далекому сыну стало последним обостренным толчком, заставившим обнажиться сердце и память другого поэта, тоже крестьянского сына, — и родились стихи, ставшие великим памятником всем матерям России.

Я спустился к деревне. Два ряда заросших полынью и татарником фундаментов. Ветлы с орущими грачами. Камышовая речка Сухайла. Мосток через нее. Пророческими оказались строки поэта:

Ветер тише — темный, дальний, древний.

Я иду обратно. Мне приветно

Машут ветлы над глухой деревней,

Очень низкой и едва заметной,
Словно вся она объята дремой
Под истлевшей выцветшей соломой.
Я смотрю и чувствую — унижен
Этим видом азиатских хижин,
Где судьбы безрадостной немилость
Чересчур уж долго загостилась.
Пусть уходит — к смерти — наготове!
Шире дверь для буйной крепкой нови,
Чтоб переиначить навсегда
Это царство нищего труда!

Жизнь переиначена. И в этой новой жизни больше оказалась ненужной «низкая деревня» Беровка. Остались лишь ветлы. Те самые:

На краю деревни, на поляне,
Под ветлой крестьянское собрание.
Чей-то голос, хриплый и метельный,
Говорил об жизни об артельной.

Тогда мужики и не догадывались, что это собрание и решило судьбу деревни: при «артельной жизни» станут обузой десятки беспорядочно разбросанных по степи маленьких деревенок и хуторов — они сольются в большие села без соломенных крыш.

Я стоял на заброшенной улце заброшенной деревни. И странно — не было у этой деревни и тени печали. Со всех сторон обступали ее богатые поля, и она грелась на солнце с достоинством много потрудившегося за свой век человека. Она словно смотрела на эти поля и с гордостью говорила:

— Смотрите, это вырастили мои внуки, сыновья тех, что лежат в братской могиле на пригорке. А недавно из соседней деревни приходили ребятишки в красных галстуках, я уже не смогла узнать, чьи они, и положили к могиле цветы. А сегодня вот приехал какой-то чужак и читает вслух стихи моего сына, да еще утверждает, что обо мне написал стихи другой поэт — Сергей Есенин.

А мне слышались стихи:

Не унесу я радости земной
И золотых снопов зари вечерней.
Почувствовать оставшихся за мной
Мне не дано по-детски суеверно.
И ничего с собой я не возьму
В закатный час последнего прощанья,
Накинёт на глаза покой и тьму
Холодное, высокое молчанье.
Что до земли и дома моего,
Когда померкнет звездный сад ночами,
О, если бы полдневной синевой
Мне захлебнуться жадными очами,

И расплескаться в дымной синеве,
И разрыдаться ветром в час осенний,
Но только б стать родным земной листве,—
Как прежде, видеть солнечные звенья.

Стороной пропылил мотоцикл. Откуда-то из камышей потянул ветер, тронул ветлы, густо зашумела рожь. И я подумал, что десять, двадцать раз прав поэт Николай Рыленков, написав вот эти строки:

«Нет, то, что соединяет людей, не размывает время. Не может размыть. И все, что есть живого в стихах несправедливо забытого поэта, не только вернется к старым друзьям, но и будет находить все новых и новых друзей».

Михаил Чванов

Стихи



СЕНОКОС

Родиону Акульшину

Какие частые стога!
Пчелиный рой — живые копны.
Сошла работа расторопно
В миротворящие луга.

Но травам больше не пылать.
Вчера дозванивали косы.
Шутливый ветерок доносит
Далекий чибисиный плач.

1915

СЛУШАЯ ТАЛЬЯНКУ

О, эти переливы звонкие
Тоски безудержных полей...
Чьи руки синими постромками
Так связывают душу с ней!

Бегут и плещутся за гумнами,
Полнея странным часом тайн.
Как сиротлив собачий лай
За поворотами бесшумными!

И плавают одни под месяцем,
И никуда им не уйти.

Вечерне-синий сумрак-месиво
Смешал последние пути.

1922

* * *

Только ночь убирает
Железного дня следы.
Убирает, сметает
В золотые свои сады.

Только ночь так упрямо
Подводит бывшему счет.
Эта звездная яма
Чью голову не качнет?

Но качнет не испугом,
А миром и тишиной.
(По глубокому лугу
Скатилась луна копной).

1922

* * *

Небо — сизое, осеннее,
Машет северным дождем,
И тоскливое смирение,
И поклоны под окном.

За плетневою околицей
Слышен роуди тихий стон,
И печалится, и молится
Опадающим листом.

Скоро, скоро затуманится
По-иному сторона,
И земля — родная странница
Будет в снег обелена.

А пока дожди осенние,
Мягкий лист, и тихий дом,
И тоскливое смирение,
И поклоны под окном.

1922

ПОСЛЕ БУРАНА

Три дня, три ночи выл бурань.
Ворот не видел глаз.
И вот по взмыленным буграм
Погода улеглась.

И хоть запряты под снег
Имба и каждый двор,
Но светит солнце и у всех
Открыт по-детски взор.

Но взор и солнце все ясней,
Не солнце — алый рот.
По всей деревне у сеней
С лопатами народ.

Скрипят ворота. Путь готов.
Бегут наперебой
Коровы, овцы из хлевов
На светлый водопой.

И там, где прорубью вода
Бежит одна, как темь,
До синих сумерек стада
И крики целый день...

Под вечер окон желтый ряд
На снег струит уют,
И где-то парни говорят,
Гармоники поют.

И где-то песни и струна,
Опять лады и смех.
И чаровницею луна
Глядит на синий снег.

И вечер, словно кружева.
Его видал и ты,
Когда глухая синева
Свисает, как цветы.

А в полночь вдруг издалека,
Быть может, с вышины,
Прольется сонная река
Разливом тишины.

И только изредка в полях
Иль с потемневших гор
Собакам дремлющим на страх
Затянет волчий хор.

1922

* * *

Звени и пой, разлив песчаный,
Недолг час, недолог срок,
Когда барханное качанье
Застынет у чужих ворот.

Когда зеркальные каналы
Заплещут синью горных вод
И на груди пустыни впалой
Железный лебедь проплывет,

А где желтеющее лоно
Немых песков, где спят бугры,—
Поднимутся до небосклона
Поля бегущей джугары.

Арбе тогда не заскрипеть
И долгих песен не услышать,
И все же не могу не петь,
Когда весна мой край колышет.

И все же мне не позабыть
Неудержимого раздолья,
И по-сыновнему любить
Тебя со сладостною болью.

Родимый край, моя страна,
Цветных оазисов становья!
Не от тебя ли старина
Уходит, вспугнутая новью?

Не ты ль до Индии шумишь,
Заржавые отбросив цепи?
О прошлом не звени, камыш,
О прошлом позабудьте, степи!

1922

ЧАЙХАНА

Какою ласковой медлительностью дышит
Горячий день
В открытой чайхане
Под золотисто-бирюзовым небом.
Как будто все вином напоено,
Слегка —
Покушим солнцем,
И дрожит.
У ног арык, и рядом
Гигантскую зеленою стрелой
Остановился тополь.
В тени валяются захватанный кетмень *
И с лоскутками детскими уздечки.
На коврике садится третий сарт,
Но пиалы ** одной
Касаются их тонкие коричневые руки.
А сверху, по стене,
Свисают желтые и красные цветы.
Звенит с утра неуловимым звоном
Апрельский день
С разводом золотым
Под расцветающею синью аркой;
В двенадцать арка выше.
И огненной горой
Заполыхает солнце.

* Кетмень — род мотыги. — *Прим. автора*

** П и а л а — чайная чашка. — *Прим. автора*

Тишина...
В вечерний час,
За синею молитвой муэдзина
(Вечерняя заря арабская совсем),
Когда последний прозвенит с базара
караван
И колокол замрет за дальним поворотом,
Веселою проснется чайхана.
Готовится с бараниной палау *
(Хлопочет приглашенный повар).
И с нар,
Где разлеглись, расселись важно гости,
На улицу пустынную польется
Знакомый звук гортанного дутара **.
И, заломив рога, отскочит полумесяц
В ночную синеву тогда с мечети
Послушать раз еще
Века неизменившуюся песню.

1923

ТАМЕРЛАНОВЫ ВОРОТА ***

I

С орлом, шакалом, тенью имя,
Задумчивее караван.
Здесь, окруженный твердью синей,
На север рвался Тамерлан.

И горы каменную гранью
Небесный не замкнули свод
И расступились, по преданью,
У глинистых Санзарских вод.

К волне речной волна другая
В ущелье черное влилась.
Кто помнит: до какого края
Догикала орда в тот раз?

* П а л а у — плов. — Прим. автора

** Д у т а р — музыкальный инструмент. — Прим. автора

*** Т а м е р л а н о в ы в о р о т а — ущелье в горах между Самаркандом и Ташкентом. — Прим. автора

Веков минувших не воротись,
И нужно ли?.. Уходят — пусть,
Лишь в Тамерлановых воротах
Течет раздумчивая грусть...

II

Возвратился Тимур из Индии
С богатой добычей, слонами,
По забытым путям Искандера.
И зодчие с берегов Ганга,
Из Китая и Персии
Воздвигли в Шаршаузе * арку.
А город Шаршауз тихий,
А город Шаршауз древний
И весь в садах.
И над городом арка
Лучше десятка мечетей,
С которых под вечер гортанно
Тянется крик азанчи.
С Тамерлановой арки
Я видел Индию,
Немного Шираз
И словно соседа — Биби-Ханым **
В Самарканде.

III

Тише безветренного заката
в пустыне,
Тише развалин, гробниц и храмов,
Тише самой пустыни
Ворота третьи.
(В эти ворота когда-то
Ушел Тамерлан навсегда из садов
Самарканда.)
И помню, как это было.
Направлялся Тимур на север

* Шаршауз — Шахризябе, город в северо-восточной Бухаре.—
Прим. автора

** Биби-Ханым-медресе — мечеть жены Тамерлана, величайшее здание Средней Азии, ныне полуразвалившееся.— Прим. автора

В далекий поход, а какой —
Пустыня и горы молчат,
И джидда никому не расскажет.
За глиняно-плоским Ташкентом
Догнал полководца гонец
С новым огнем в кувшине,
С жидким огнем, что привез
Из далекой неверной Европы.
Пьяно-смертельным напитком
Вышел подарок Тимуру.
Тут и открылись ему
Третьи ворота.

1923

ПЕРЕЛЕТ

Затерянными ледниками
Забороздили облака.
И вот я гостем рыбака
Любуюсь отшумевшей Камой,
Незванным гостем у сосны
(Игрой заумною весны).

Поют, качаясь, облака
Чуть глуше Камы в половодье.
Весна — зеленые ободья,
Весною можно обречь
Людей на дальние кочевья
(Когда не знаю, кто и чей я).

Плывут сырые облака
Блуждающими ледниками.
Приплыв сюда издалика,
Уж я на севере за Камой.
Но долго ль там? И вновь полет
Туда, где тает синий лед.

1923

КРУГОВОРОТ

Дорогой неотмеченной, разбитой
Плывет земля, как миллионы лет,
А с ней и мы по выгнутой орбите,
Напоминая скопища планет,
Смешных планет, как птицы у застрехи,
И слепо пропускающих во тьму
Вселенские сторожевые вехи.
Не это ль горько сердцу моему,
Что на пути великом и безмерном
Ведем себя как у двери пещерной?

Плывет земля, но путь ее чудесный
На книгах только подчеркнет иной,
Не замечая странности одной:
Висеть и где — в пучине неизвестной,
И не сознав величия того,
Что за землей и путь ее плывет,
Что звездный мир, быть может, населяем
Таковыми же людьми, как на земле,
А о земле твердим, что нет милей,
И до погоста на одной гуляем...

Тридцатый раз и я плыву, о други,
Как в первый раз — до этого не в счет.
Но грустно мне, что на безликом круге
Без остановки молодость течет.
Но не о том... И я не замечаю
Ни звездных рек, ни круглого следа,
И по ночам лишь головой качаю,
А днем у глаз, как мутная слюда.
И только в час неслышного заката
Сужу о днях по их струящим скатам.

Но в тот же час, когда светящей пылью
Оранжево заблещет небосклон
(О други милые, как близок он!),
Случалось так: глаза за грани вылью,
И чувство незнакомое в груди
Тогда растет и ширится без меры.
Гортанный гул... Ах, то земля гудит —
Огромный шар зеленовато-серый...

Размерному движенью ли подвластна —
Земля, земля, ты и вдали прекрасна!

И бьют часы наличья золотого.
В крови залог, как чернота в дубу.
Ведь, если даже сказочное слово,
Так что ж теперь? Хотя бы и случайно.
Не мы ли прорастаем головой
Надземные космические тайны
И слушаем гортанный гул и вой?
И верю: вырвемся, развив упрямство,
Не я — другой в горящее пространство.

1924

12 МАРТА 17-го ГОДА

Был фабрикант, его снаряды...
А за снаряды — чашей дом.
И был, как чучело, наряжен
Благословляющий перстом.

Ни смертный бред, ни ужас бойни,
Ни в клочья рваные тела
Не волновали их — спокойно
Творящих черные дела.

Страна нищала. Плач и скрежет
Неслись по селам, городам.
О, как всю муку передам! —
Смех юношей звенел все реже,
Задумчивых не по летам.

Но вот за темной непогодой
Каймой оранжевой заря,
Февраль семнадцатого года
И низвержение царя.

Казалось, — рухнул без возврата
Мир крови, голода, свинца,
Увидит брат родного брата
И расцелует сын отца.

Но был солдат тогда наивен,
Но был рабочий одинок,
И снова грянул медный ливень,
И в горло врезался клинок.

Сраженный пулею не встанет...
Рабам не лучше у станков.
И зрело новое восстанье
Заводов, деревень, штыков...

1924

ВЕСНА

И снова тают облака,
А солнце — что очаг домашний...
Парной теплыню молока
Качаются пары над пашней.
О жаворонке о любом,
О звонкой, куликовой тряске...
И тонут, тонут в голубом
Глаза, подернутые лаской.
Еще в оврагах белый пух,
Еще деревья точно следи.
Улавливает где-то слух
Гортанный разговор телеги.
Гортанность эта мне ясна, —
В ней сдержанная радость нови.
Но то ли нам еще готовит
Зеленокудрая весна!

1924

ОВРАЖНЫЕ ПЕСНИ

Хлещут поля весной
И задымившейся брагой.
Кто-то идет за мной
С песнями от оврага.

Пой, мой любимый, пой
Древнюю песню нашу

О широте степной
И о раздолье пашен.

Снова серебряный стук.
Слышу — встревожены кони;
В поле крылами рук
Дикой лечу погоней.

В поле! за полем! в степь!
До горизонта навскачь.
Можно ли утерпеть.
Под непосильной лаской!

В степь до застывших гор,
В синь до жемчужной выси,
Чтобы направить взор
С вечных памирских лысин.

Чтобы не мог задеть
Взлет за хребты весенний,
И по земле всегда
Плыло со звоном пенье;

Чтобы до льдистых тундр
Видеть, лаская, зелень,
Ниже — лесной табун,
Новые сосны, ели...

Хлещет в лицо весной
Древней степной отвагой.
Кто-то идет со мной
С черной дымящейся брагой.

1924

* * *

У синего порога вечеров
Кто не стоял за городской вечерней!
Шум площадей упорней и безмерней,
Шум площадей, как стоязычный рев
И как прибой, безумен и суров.
А в небе час звезды, о, тихий час вечерний!

Вожжами золотыми фонари
Развешаны у каменных подножий
И вдаль бегут, в глухое бездорожье,
Где до шафрановых костров зари
Одна звезда зеленая горит,
Как сторож вечности, который не поможет...

Но, город, ты! Надолго ли твой путь
Заброшен лапой каменной за вехи?
Закон полей, закон пустыни ветхий
Раздавит ли твою живую грудь,
Чтоб плакаться в осеннюю погудь
Иль в ассирийский зной дремать под ласку ветки?

Случится ль так — одно: идешь вперед,
Во мгле веков качая фонарями.
Навстречу бьется дождь о серый камень,
Навстречу завтра буря заревет.
Но падает, стекая, небосвод,
И пьяно трубишь ты один за облаками.

1924

* * *

Багровый отсвет — новое звено
У вечеров, вздымающихся пьяно.
Какое в небе рóзливо вино,
Какая задымилась в небе рана!
О вечера, поющие о странах,
В которых побывать нам не дано!

А здесь дома и гулкий коридор
(Напомнили скалистые отроги).
А здесь дома и темный кругозор
По переулку, бьющемуся в ноги
Широкой площади Застывших Зорь...
И тишина, и вид пустынно-строгий.

И низкая ночная синева,
Питающая сказочную пору.
Неверен крик, безрадостны слова.

Как выразить желтеющую прорубь
В лиловом небе? Вьется голова —
Неутихающий, упорный короб.

А с площади, без усталости гремя,
Доносится торжественным органом
И трубный зов, и ржание коня,
И дикий лязг, и вопли урагана.
И все зовет, и трубит все в меня,
Идущего по переулку пьяно.

1924

АПРЕЛЬСКИЙ ДОЖДЬ

Двигается небо. Вода.
Виснут по склонам стада.
Плачут в полях провода.
День ли проходит, года —
Нет и не видно следа.
Двигается небо. Вода.

Плачут деревья и травы
В тихой землистой оправе.
Льется с утра. Уже вечер.
Дождь-то совсем хорош.
Пологом серым далече
Льется дождь, дождь...

1924

* * *

Был простой, обычный день весенний:
Солнце, синь и зелень бахромой...
После долгих митингов о смене
Провожали полк домой.

Перед штабом с флагом порыжелым
(Помню — он свернулся и поник)
На стене рабочий вывел мелом:
«Будь здоров, товарищ отпускник».

Собрались. Построились рядами;
На вокзал готовы все.
Вот обходит кто-то, и на память
Получает каждый по косе.

Получил и на плечо закинул,
Заиграл прощальное оркестр,
А в глазах у каждого картины
Незабытых долгожданных мест.

Уходили... На плечах добычей
Мирная желанная коса..
Я люблю такой простой обычай,
О котором стоит рассказать.

1924

* * *

В детстве было просто и понятно:
Воют ветры в вечер — жди
В облаках оранжевые пятна
И дожди.

А случится дождевым отрепьям
Погоулять, упав без сил,
Значит, кто-то над глухою степью
Загрустил.

Грусть пройдет, и подкрадется стужа
На когтях из белых лап,
Но застывший мир все так же кружит,
Не ослаб.

И еще, когда в седом паласе
Хлынут с неба орды вьюг,
Колокольный звон тогда напрасен,
Милый друг.

Каждый час, как гость каменоломни..
Время, ты хоть не карай!
Это было в детстве, где — не помню.
Где ж тот край?

1924

ГНЕДЫЕ СТИХИ

Написал мне отец недавно:
«Повидаться бы надо, сынок.
А у нас родился очень славный
В мясоед белоногий телок.
А Чубарка объягнилась двойней,
Вот и шерстка тебе на чулки.
Поживаем, в час молвить, спокойно,
Как и прочие мужики.

А еще поздравляем с поэтом.
Побасенщик, должно, в отца.
Пропиши, сколько платят за это,
Поденно аль по месяцам?
И если рукомесло не плоше,
Чем, скажем, сапожник аль портной,
То обязательно присылай на лошадь,
Чтоб обсемениться весной.
Да пора бы, ты наш хороший,
Посмотреть на патрет снохи.
А главное — лошадь, лошадь!
Как можно чаще пиши стихи».

Вам смешно вот, а мне — беда:
Лошадьми за стихи не платят.
Да и много ли могут дать,
Если брюки и те в заплатках.
Но не в этом несчастье, нет, —
В бедноте я не падаю духом, —
А мерещится в каждый след
Мне родная моя гнедуха.
И куда б ни пошел — везде
Ржет мне в уши моя куплянка,
И минуты нельзя просидеть —
То в телеге она, то в рыдванке.
И, конечно, стихи — никак.
Я к бумаге, она — за ржанье.
То зачесется вдруг о косяк. —
Настоящее наказание!

А теперь вот, когда написал,
Стало скучно: молчит гнедуха,

Словно всыпал ей мерку овса
Иль поднес аржаную краюху.
Но в написанном ряде строк
Замечаю все те же следы я:
Будто рифмы — копыта ног,
А стихи на подбор — гнедые.

1924

* * *

Свиной угнали
В степь рано-рано.
Они южали,
Ах, как южали!
Ныряя к баням,
За огороды,
Они бежали
Спросонок пьяно.

А спозаранья
От хмурых облак
Все было синим.
А спозаранья
От хмурых облак
Тонули грани
И меркли дали.
И было тонким
И странно робким
В степи молчанье.

Лил дождь тягучий,
Как ожиданье.
Лил дождь тягучий
Глухой и тощий,
Седой онучей
Вися над рощей.
Лил полоньями.
А сторонами
В халатах рваных
Спускались тучи.
Но дунул ветер,

Как незнакомый,
Но дунул ветер,
Сырой, холодный,
И дождь разломан,
И дождь распутан.

И к полдню свиньи
Уж были дома
В своих закутах.

1914—1925

* * *

Март.
Ломкий звон по утрам.
Тонкой дымкой весна повисла.
Не поверю, чтоб в мире нам
Открывались одни лишь числа.
Дни приходят, как милые гости,
Каждый ладя на голос свой.
Как же быть мне слепым и черствым,
Обрастающему синевой?
Петухи кукарекают громче,
Воробьи — словно почки в саду,
Тихий месяца розовый кончик
Долго-долго висит на виду.
Отойду,
А глаза горят,
Вместе с облаком детским тая,
Будто выстроились в небе в ряд
Дуги — синяя, золотая...
Ветер,
Дали,
Кто-то поет.
Может, сам я запел — не слышу.
Это, наверно, сердце мое
Бьется, поднимаясь выше.

1925

УЛИЦА

Избы в сонной паутине
Спят, ресниц не шевеля.
С юга веет ветер синий
Сладким соком ковыля.

Лунный свет и пьян, и смутен,
Словно желтый самогон.
Льют лады в ночную сутемь
Песню-трель о дорогом.

Песни, пляски, визг и вскрики —
В эту ночь по всей стране.
Даже месяц медноликий
Улыбнулся в вышине.

Даже темным старым ветлам
Вдоль приникших берегов
Снится радостный и теплый
Мир, не знающий снегов.

Ну, и мне приснилось ныне
Под задорный звон и гам,
Будто еду по равнине,
По некошеным лугам.

Будто еду, где — не знаю,
Только радость так светла,
Что ору, как дети в мае
На елани у села.

А проснулся — тихо. Брезжит.
Где-то слышно — говорят.
С поля веет ветер свежий.
Петухи. Рассвет. Заря.

* * *

Как спешат облака, как спешат!
Сам не знаю, чему я так рад.

Запрокинул глаза в синеву,
Я от счастья похож на сову.

Но спешат облака, но бегут.
Где-то ржанье и топот, и гуд.

1925

ПРОЩАНИЕ

Горит закат,
Густеет гам.
Слежу за огненной кручей.
По тростниковым берегам
Мне не вдыхать травы пахучей.

Не хлынут синью вечера
С бессменным месяцем под сводом,
Когда у зыбкого двора
Беседу вяжут хороводы

О ценах на муку и рожь,
О лошадях и крепком ситце..
С тем кругом — как он ни хорош,—
Пришлось давно мне распроститься.

Я не крестьянин,—
Что там врать,
И если был — одной ногою.
Но земледельческая рать
Осталась сердцу дорогою.

Я с нею — житель городской,
Хоть отвыкаю год за годом,
Лишь над смолистою доской
Вдруг замечтаюсь мимоходом.

Тогда и город просветлен,
И каждый дом смешно доволен
И небо —
Просто синий лен —
Один над городом и полем,

А дождевые облака —
Не облака, немые пашни,
Приплывшие издалека
Взглянуть на площади и башни.

И рад, что сердцем так сберег
Я дух полей, до боли милый.
Знать, потому пастуший рог
Мне слышится с автомобилей.

Но я в деревню не вернусь,
Хоть вспомнив дом —
Готов заплакать.
В полях теперь такая грусть
И дождевая сырь, и слякоть.

Лес почернел и поредел,
Поляны вязнут в мокрых листьях,
И словно весь лесной предел
В полюблезлых шкурах лисьих.

Я не приду.
Пусть плох пример.
Конечно, дело не в наряде —
Я сельским девушкам теперь
Кажусь не юношей, а дядей.

Отрезан я,
Как режут хлеб
К еде удобными ломтями,
Через десяток долгих лет
Туда едва ль меня потянет...

Горит закат.
Слышнее гам.
Напевней звон и гул трамвайный.
По тростниковым берегам
Я отгулял, как гость случайный.

1925

Цыганскою шалью
Окутан мой сад,
И желтой печалью
Лоскутья висят.

Как будто от Ганга,
От родины старой,
Предстала цыганка
С любимой гитарой.

И тонкие струны —
Садовые ветви,
Как дальние струи,
Запели на ветре.

Слова непонятны,
И думы неясны,
Но желтые пятна
В саду не напрасны.

Припомнил без дрожи
Под грусть и отраду:
На осень похоже
Былое нарядом,

На желтую осень,
На берег багряный,
Откуда уносим
И радость, и раны...

1925

ИЗ ВАГОНА

Мчится поезд.
Пробегают поля и леса.
Над лесным и степным покоем
Снова лисьи меха висят.

Осень...
Были тысячи точно такие.

Желтой краской подернуто все.
Но никак не отдерну руки я
От того, что, лаская, сосет...

Деревушка от полустанка
Тихим полем отделена.
На пологом холму ветрянка,
Но как машет смешно она.
А за нею высоко и пусто.
Отзвенели давно голоса.
Льется с неба немая усталь
На поля, на леса.

По промерзшей, корявой дороге,
Словно вылитой из свинца,
Бьются чьи-то простые дроги,
Не различишь лица.
Поезд мчится,
И дроги ближе,
Ветер,
Грива,
Вот и гнедой.
И на дрогах за насыпью вижу
Зипунишко и шлем со звездой.

И не странно, что радостью было,
Ведь по-разному можно жить:
Проезжал по полям унылым
Красноармеец-мужик.
Я подумал тогда:
Наверное,
Повстречавшийся — отпускной.
Это он в двадцать первом
Был в атаках всегда со мной
За туманную Березиной...

Тихий свет от зари вечерней
Розоватой висел стеной.

1925

* * *

Сегодня ветер странно мглист,
Такого не видали,
Сегодня ветер, как горнист,
С трубой, гремящей в дали.

Сегодня ветер слишком злой —
Не умолкая ропщет.
Смотри, как черною золой
Он обсыпает рощи.

Сегодня ветер пьян и прям,
Упрям и недоволен,
То загрохочет по горам,
То заскулит над полем.

Сегодня ветер так смешон,
Забавен и дурашен —
С утра в обнимку с камышом
Вдвоем над речкой пляшут...

Иду под ветер, как домой,
В ходьбе слегка разладясь.
Сегодня ветер — праздник мой,
Безмерной силы радость.

1925

* * *

Тучи — гнилая солома.
Дали — худые плетни.
Крышей любимого дома
Машут осенние дни.

Сердце желанному радо,
Близости сельских примет.
Я и осенним нарядом,
Как материнским, согрет.

Раннюю память тревожа,
С болью ее теребя,

Вижу себя я моложе,
Вижу другим я себя.

Где же теперь он, далекий?
Я повстречаюсь ли с ним?
Или опозданы сроки
Видеть себя молодым?

Горечи этой не сбросить,
Хоть бы плясать довелось.
Ждать уж недолго, и проседь
Тихо коснется волос.

Только на память о доме,
В память и в радость о нем
Кажутся тучи соломой,
Дали — покатым плетнем.

1925

ОБОЗ

Жизнь людская разной кройки:
Тот — богат, а этот — бос.
Потому-то вместо тройки
Мне мерещится обоз.

Ночи, дымные метели,
И в метель, в пути таком
Вместо ласковой постели,
Дровни с мерзлым хрептугом.

Дровни плачут, режут, месяц
Жесткий снег под храп гнедух...
Хорошо, как светит месяц,
Хорошо, как не потух.

А потухнет, станет жутко.
Заблудился — не помочь.
И вся жизнь ненужной шуткой
Вдруг представится в ту ночь.

Дома, темная с испугу,
Мать осветит образа

И не раз на светлый угол
Вскинет грустные глаза.

Выйдет в сени. Степь гогочет.
Словно жернов крутит снег.
Где-то глухо вскрикнет кочет,
Ни пути, ни звезд, ни вех.

Что-то станет и случится,
Каждый час, как сто недель,
И всю ночь в окно стучится
Зяблой странницей метель.

Лишь наутро просветлеет.
У окна лежит сугроб,
И глядит, и жутью веет,
Как огромный белый гроб.

...Так всегда. Одним попойки,
А другим, кто сердцем прост,
Тяжкий труд с больничной койкой
Да затерянный погост.

Но, влекомый новой долей,
Я за тех, кто шел со мной
В бездорожном русском поле
За обозами зимой.

1925

* * *

Как будто из моих очей
И эта синь, и облако седое,
И так легко на согнутом плече
Нести очарованье золотое.

Что города! Их неумный шум!
Слух ветру, пьяному от сини!
В нем плеск волны
и скрип цейлонских шхун,
И сонный звон бубенчиков в пустыне.

Но резче вздох, и слышен шорох нив,
Над нивами веселым криком—ржанье.
Вот почему я на ветру счастлив,
Вот отчего любя его игра мне.

1925

НА НОВЫЙ ГОД

Я не забыл,
Что Новый год сегодня.
В траве времен едва заметный ров.
В высокий рог
Труби, мой стих свободный,
О жизни деревень и городов.

Не потому,
Что подвернулся случай,
Я рву стихи с таким негодным швом.
Не первый день меня зовут и мучат
Те образы,
Которыми живем.
Крестьянин я.
Люблю земли советской
Ширококрылый, полноводный взмах.
И чудится —
Под голубым навесом
Не я один у радости в гостях.

Все кажется,
Что эти дни — не будни,
Девятый год
Иль то девятый час...
Я в Ленинской стране веселый
спутник,
Но говорю об этом не кичась.

Да, труден путь,
И лошадь в белой пене.
Но не отдам...
Не отойду назад.
Глядит живым широколобый Ленин,

И ласку льют монгольские глаза.

Какая боль,
Что словом не приветит,
И вместе радость —
Будет век со мной.
Вот чувствую,
Как повернул на лето
На взмах руки холодный шар земной.
И новый ход
Дала земля налево.
Любимый взмах как будто путь рассек.
О, время благодатного посева,
Какого не запомнит человек!

1926

МОРОЗ

Я деду этому не верю,
Он слишком зол,
Он слишком рьян.
Нет, он скорее похож на зверя
Далеких приполярных стран.

Как он ворчит
И чуть не плачет,
Когда идешь ему навстречь!
Он явно из семьи кошачьей,
Кошачья злость его и речь.

Его пружинистое тело
Перелетит и через сад.
Он весь, как тигр,
Но только белый,
И белые усы торчат.

Вот он стоит на перекрестке,
К прыжку согнувшийся в кольцо.
Махнет хвостом —
И ветер жесткий
Ударит каждому в лицо.

Вот прыгнул вверх
И лапой вора
Скребет по стеклам этажей,
И в окнах — льдистые узоры,
И там, за окнами, — свежей.

Так день и ночь
Он рыщет всюду
По переулкам и дворам,
И на ветвях свисает грудой
Пушистый иней по утрам.

И от полярного питомца
Бросает город в полутьму,
Косится раненое солнце
И тихо прячется в дыму.

А теплота костров несмелых
На каждой улице — смешна.
Ему страшна, — он знает, белый, —
Одна лишь красная весна.

1926

СНЕГ

Все небо плавится свинцом,
Но будет век цвести
Снег первый вымытым лицом
Ребенка лет шести.

И свищет ветер без конца,
И пусть ребенок нем,
Но свежей радостью лица
Как нравится он всем!

Но день, другой — и вот мороз.
Пришел мороз, смотри:
Ребенок наш теперь подрост,
Подрост на года три.

Мороз еще, и грустно нам,
И как тут не тужить:

Кругом, кругом по сторонам,
Как взрослый, снег лежит.

И уж друзья его не те,
Не те друзья, не те.
Седую ведьмою метель
Шипит, как на плите.

Мороз грубей, и кто б ни шел —
Сгибается в кольцо,
Как будто сотни белых пчел
Впиваются в лицо.

Да, неприветливы друзья —
Жильцы полярных мест,
И не один узнаю я,
Как снег нам надоест.

И не один, когда в плетни
Махнет зеленый луг,
Увижу тихий снег в тени,
Глядящий, как испуг.

1926

* * *

В городе вьюга.
Полночь дымится
Снежную мутью. В окно
Глянут и скроются белые лица,
Глянут — и снова темно.

Полночь из Пушкина...
Вьюгой разбужен,
Сказочный мир мне знаком.
Что же, смелей!
Заходите на ужин!
Поздно бродить под окном!

Вьюга ворожит.
Полночь дымится,
Так же, как было, в окно

Глянут и скроются белые лица,
Глянут — и снова темно.

Дружбы навязчивой я не поклонник:
Тих и уютен мой кров.
Вьюга и полночь (без посторонних) —
Лучшее время стихов.

Чувства и думы ложатся напевней.
Но забываю стихи, —
Где-то за Волгой
В уснувшей деревне
Звездам поют петухи.

1926

ЖУРАВЛИ

Я не слышал роднее клича
С детских лет, когда вдали
По заре степной, курлыча,
Пролетали журавли.

Помню, верил: в криках стаи
Есть понятные слова.
И следил, пока густая
Их не скроет синева.

Ныне стаи реже, глуше,
Или жизнь пошла ровней,
Но по смерть готов я слушать
Эти песни журавлей.

Вот вчера, в час вешней лени,
Вдруг на небе, как штрихи,
И от них такое пенье...
Будто вновь Сергей Есенин
Мне читал свои стихи.

1926

* * *

О, милый друг, оставь весло
И не прислушивайся к пенью!
Смотри, как небо проросло
Завечеревшей голубенью.

Смотри, уж выплыл сад планет.
Видал ли ты деревья гуще!
А этот желтый лунный свет,
Как с золотой горы бегущий!

Удел забот всегда тяжел,
Но в жизни есть и не такое,
Хотя бы то, что вот пришел
Час несказанного покоя.

Хотя бы то, что пред тобой...
Не ты ль несешь в себе, как чашу,
И этот купол голубой,
И звезд нетронутую чашу?

Оставь, оставь, мой друг, весло!
Пусть лодку тянет по теченью.
Ведь даже сердце проросло
Завечеревшей голубенью.

И пусть удел забот тяжел,
Ты видишь, в жизни есть другое.
Хотя бы то, что вот пришел
Час несказанного покоя.

1926

* * *

Ты целуешь, а я плачу,
Говоришь, а я — ни звука.
На неожиданную удачу
Я смотрю как на разлуку.

Чуть отходишь — затоскую,
Словно осень на лугу.

Потому любовь такую
Я навряд ли сберегу.

А замечу взгляд тревожный —
Уж тревожно нам обоим.
Видно, счастью невозможно
Обойтись без перебоев.

Ты целуешь, а я плачу,
Говоришь, а я — ни звука.
На неожиданную удачу
Я смотрю как на разлуку.

1926

* * *

Свежей
И зеленой трава.
Стал горизонт на миг зелено-светлым.
Каким покоем веют деревья,
На все село кричавшие от ветра!

Устал и я,
Придя с полей,
Где тишина, как сумрак, опускалась.
И вот в меня струится все светлей
Сладчайшая закатная усталость.

1926

* * *

Ручей весь день хлопочет
Над камнем у ворот.
И в синем небе кочет
И машет, и орет.

Высок его плавучий
Стеклянный двор. С утра
Седые куры-тучи
Глядят из-за бугра.

А выше их, по скату,
Где голубой уют,
Пушистые цыплята
У ветра грудь клюют.

Но ветер спит, не слышит,
И снится сон ему:
Весь мир зеленым вышит
Под синюю кайму.

Смолкает день весенний,
Еще тепла земля.
Сиреневые тени
Ложатся на поля.

И — кочет над оградой
Благих, вечерних мест
Рассеянное стадо
Скликает на нашест.

Потом, семью проверив,
Летит костром к двери,
С хвоста роняя перья,
На изгородь зари.

1926

* * *

Будут радовать вечно
Солнце, ветер и синь,
Камышовая речка
И лесная медынь.

И бессрочно красивы
Размечтавшийся стог,
Безымянные ивы
И равнинность дорог.

Льются зори, как реки!
С дальним ржаньем кобыль.
Видно, сердце навеки
Я в степи позабыл.

И все ласковой, чаще
Снятся только они,
Да разлив шелестящий,
Да степные огни.

Если ж вдруг вспоминаю
Про упавших в беду,—
Я к любимому краю
Тут за сердцем иду.

1926

* * *

Иду, пьянея от травы,
А сверху, чуть вдали,
На тонких струнах синевы
Играют журавли.

Наверно, было б так в раю
Среди блаженных ив.
И луг вырастает в грудь мою,
Всего озеленив.

И я лежу в траве травой,
Чуть слыша, как вдали,
Сливаясь с песней ветровой,
Курлычут журавли.

1926

* * *

Закачалась ива,
Машет над рекой
Веткой сиротливой,
Гибкою рукой.

Машет и, похоже,
Плачет в стороне,
Что никак не может
Подбежать ко мне.

— Ты, ямщик, не строго.
Зря не торопи.
Пыльная дорога
Подождет в степи.

Полюбуюсь ивой,
Придержи коней.—
Слез и торопливо
Подбегаю к ней.

И уж сердцем вольным
Слышу, как вдали
Стаей треугольной
Машут журавли.

Здравствуй, день зеленый
С шапкой голубой!
Словно пред иконой,
Еду пред тобой.

1926

* * *

Если вьется дым над хатой,
Если золото на нивах —
Это значит: я к закату
Буду сам в стране счастливых.

Если слышу стук фабричный,
Паровозные гудки —
Значит, день стоит отличный,
Без печали и тоски.

А увижу флаг над строем
Красной Армии, взгляну —
И уж я тогда спокоен
За себя и за страну.

Остается все же много:
Полюбить, как жизнь, страду,
Эту новую дорогу,
По которой я иду.

1926

* * *

Ты здесь ждала меня, награда!
Цветет черемуха, цветет!
Она с ума меня сведет,
Белея издали, из сада.

Но пролетают дни досуга,
В прощальный путь глядит лоза.
О, если б век мои глаза
Несли сады и цветень луга!

1926

* * *

Степная речка в камышах,
Поля в пестряденном уборе,
И вновь грустит моя душа
О затерявшемся просторе.

И вновь зеленая мечеть,
Аул и тихие долины.
О, если б век летать и петь
Над ними стайей журавлиной!

И, проплывая в синеву,
Высматривать забытый домик.
Но не узнаю, как живут,
И обо мне никто не вспомнит.

Лишь на бугре, в закатный свет,
Проглянут свежие могилы,
То жизни неповторно-милой
Последний невозвратный след.

И пусть мне крылья не даны,
Без них заказано ли плакать.
О долго ль, вспомнив о родных,
Мне выть бездомною собакой.

1926

* * *

Лист опадает за листом.
Смотрю на их цветную стаю,
И словно шороху времен
Тогда, задумавшись, внимаю.

Какой-то древностью полей
Охвачен я, и нет мне крова,
И словно крики журавлей
Звонят из смутного былого.

Но только миг — и снова рвусь
Все подсмотреть влюбленным
взором.
Но тут ко мне подходит грусть
Своим докучным разговором.

И долго-долго говорит.
Но что она сказать мне хочет!
И я смотрю, как даль горит,
Не слыша горестных пророчеств.

Горит и взгляд насытый мой,
К раздолью светлому повадись.
И вот я чувствую — со мной
Уже не грусть стоит, а радость.

О золотой осенний день!
О желтизна родного края!
Как будто пробежал олень,
В лесах багряных догорая.

И сердце полно до краев —
Так хорошо у тихой ласки.
О тишины златой покров
И синь осенняя, как в сказке!

1926

* * *

О родное, любимое поле!
В далях снова твой древний лик

И расплесканный по раздолью
Лебединый зовущий крик.

Выткал сердцем твои узоры,
Чтобы можно любить и петь,
Но беда ли, что каменный город
Будет тракторами гудеть.

Пусть приходит. Смешон же, право,
Этот детский ненужный страх.
Все равно ведь весенние травы
Не замолкнут в степных краях.

А когда за дождливую осень
Повернется устало земля, —
Также вспомню, как бегал босым
За незнакомцем в полях.

...И опять за киргизской будкой
Степь глядит от Китайских гор.
О как радостно и как жутко,
Упадая, бежать в простор!

1926

ОСЕНЬ

Гусиным криком на лугу
Тоскует осень, догорая,
И в колокольчики-дугу
Грусть подорожную вплетает.

Лицо усталое полей
Озарено прощальной лаской,
И как по роще, по земле
Ползут желтеющие краски.

Зарей обрызгано село, —
Закапано ржаной мякиной,
И луч осенний серебро
Раскинул тонкой паутиной.

А над лугами, над селом
Церковным сводом голубое...
О если бы туда веслом,
Как с берега, в жильё родное!

1926

* * *

Где ты, где ты, нищая котомка,
Тихий друг бездомного пути?
Буду долго в полевых потемках
Разговор с тобой вести.

В дальнюю незнамую дорогу
Побреду, не зная сам куда.
А устану — отдохну у стога,
Улыбаясь на стада.

Вот и прикорнувшее селенье.
А кругом такая сонь и тишь,
Что невольно преклоню колени
Этим копнам заржавелых крыш.

И потом, конечно, в черном логе
Я навек с котомкою засну,
Только птицы над глухой дорогой
Будут петь, как прежде, про весну.

Так скорей, ко мне, моя котомка!
В сердце снова сладостная дрожь
Оттого, что манит лес и рожь,
Машет запад золотою кромкой.

1926

* * *

В пустыне ничего не нужно,
В пустыне береги слова.

Смотрю, как над горой жемчужной
Кольшется синева...

Бредет устало караван мой.
Спокойны думы о костях...
Блажен, кто был в краю коранном
На вековых его путях...

Но трижды крат блаженней тот,
Кому песчаное безмолвье
Как проводы на богомолье
За вечеряющий Восток.

1926

СТЕПЬ

(Из оренбургских партизанских песен)

Не дремлющей теплой кугой¹,
Не спящей над синей дугой,—
Но взрытой,
Но взрытой пургой...
Ах, я тебя помню!
Я помню,
Была ты другой.

Одни в неприязни на новь,
Навеки оставив свой кров,
Кричали: «Винтовки готовь!» —
И ехали в тени от зорь,
Как в багровую кровь.

И ветер, разбойному рад,
Шумел и свистел до утра.
И слышалось где-то «ура»,
И жалко дрожали от страха,
Дрожали от страха
В степи хутора.

Ломались, трещали клыки,
Был весь горизонт о штыки
Исколот, изрезан в куски,

И больше никто не сидел
У зеленой реки.

В два года громовой поры
Я знал все овраги, бугры
До желтой сурчиной норы,
Верст на сто от мест,
Где серели родные двory.

Бушует в разливе Салмыш².
Ты, враг, здесь навек замолчишь.
Я помню апрельскую тишь,
А трупам лишь кланялся
Старый иссохший камыш.

В степи, необсохшей и липкой,
Весна нам казалась улыбкой,
Улыбкой, сиявшей над зыбкой,
И солнце глядело вокруг
Золоченою рыбкой.

Я помню тебя и такой,
Такой, разлученной с тоской,
Принявшей и труд, и покой...
Ах, я тебя помню!
Я помню
Такой дорогой, дорогой.

1927

НОЧНАЯ ДОРОГА

Жуть — пристяжкой.
Час — глухой,
След дороги неприметен.
Леденелою трухой
Обдает шершавый ветер.

Поступь конская строга.
По оврагам волчьи взгляды.
Эти грязные снега,
Видно, им одним лишь рады.

По дороге в полутьме
Тут ухабы, там сугробы.
Знай, что будет страшно мне,
Не поехал ни за что бы.

Все же — еду,
Час — глухой,
Вой погоды неприветен.
Дымной пляшущей трухой
Обдаёт шершавый ветер.

К черту страхи!
Я готов
И похуже слушать речи,—
Вон уж крики петухов
Долетают мне навстречу.

Вон уж кто-то из кремня
Высекает искры окон.
Пусть хоть сани на меня!
Все равно доеду к сроку.

Решено, так решено.
Ни задержки, ни помехи!
Что ж так месяц надо мной
Машет порванной струной,
Задевая даль и вежи?

1927

КРЕСТЫ

Их пять крестов на сельской колокольне,
Когда-то белой, а теперь облезлой.
Их пять крестов, и все они погнулись
От времени, и ветра, и дождей,
Смирненно кланяясь всему селу,
Как памятник усопшему былому —
Убогие и нищие кресты.

Их поправлять как будто не пристало,
Хотя иным достаток бы позволил.

Но тратиться на это что за прок!
Уже сошла былая позолота,
Что издали сияла так на солнце, —
Чернеются железные бруски,
Железные, согнутые бруски
На нашей сельской колокольне,
Готовые вот-вот упасть совсем.

Под колокольной тенью, за дорогой —
Поповский дом, осевший, полусгнивший,
С дырявою проржавленной крышей.
В нем доживает свой печальный век
Единственный ревнитель православья,
Служитель церкви, старый дряхлый поп,
Сующий руку по привычке давней
К губам старух и древних стариков.

Он целый год себя готовит к смерти,
Она не за горами. Каждый пост
Он пред причастьем кается народу
И не сегодня-завтра отойдет.
Но кто преемником? Оболтус дьякон?
Не нравится он никому в селе
За жадный норов и пустые речи.
Умрет старик — и церковь закрывай.

И, может, через год крестов не будет.
Они падут, отброшенные ветром,
В траву, к ограде, как железный лом.
И лишь тогда, под шутки молодежи,
Возможно, пригодятся кузнецу,
Чтоб наварить землей сточенный лемех.

Их пять крестов на сельской колокольне,
Когда-то белой, а теперь облезлой.
Их пять крестов, и все они погнулись
От времени, и ветра, и дождей,
Смирненно кланяясь всему селу...

1927



Пахнет ветер, как свежие срубы.
Где-то слышится радостный лай.
За дома, за фабричные трубы
Я смотрю, вспоминая свой край.

Там, за сизым крутым небосклоном,
Под ногой чуть заметно пыля,
Оглашаемы свистом и звоном,
Без конца пробегают поля.

След счастливый от первой телеги
Снова метит дорожную сеть,
И овраг, опустившийся, пегий,
Продолжает шуметь и шуметь.

Под высоким и синим навесом
Там и с ношей пройду налегке.
Вижу — утки мелькнули над лесом
И спустились, должно быть, к реке.

Я смотрю — и уж будто не снится,
А как раньше: на плечи ремень,
Насыпаю севалку пшеницей
И шагаю вдоль пашни весь день.

1927



Этот облак в отдаленьи,
Он во сне иль наяву
Цветом яблони весенней
Разукрасил синеву?

Вон еще пушистой грудой
Ветви странные летят,
И свисает отовсюду
Целый яблоневый сад.

Видно, правда, сердце пьяно:
Где-то щелкнул соловей,

Тянет свежестью медвяной
С опрокинутых ветвей.

А в ветвях, из каждой щели,
Обрываясь здесь и там,
Золотых лучей качели
Опускаются к глазам.

Солнце, жизнь, случайный жребий —
Вы любимы без прикрас.
О долинах и о небе
Я пою который раз.

Ис за каждой новой песней,
Радость с милой разделя,
Все прекрасней, все чудесней
Открывается земля.

1927

* * *

Где синие вихри
Вдали, на краю —
Там будто не рожь,
А бегущее стадо.
И я, очарованный,
В поле стою,
И большего сердцу
Как будто не надо.

Как будто не надо,
Как будто все есть,
Чтоб сердцу живому
Вовек не отцвествь.

Ах, что за минута
Приходит ко мне!
Я весь наполняюсь
Сладчайшею дрожью,
Как самый счастливый
В Советской стране,
Богатый трудами,
Простором и рожью.

И так говорю
Под журчание птах:
«Не плохо глаза бы
Оставить в полях!»

Мне скажут:
«Наивная
Детская ложь».
Но ветер другое
Мне на ухо шепчет,
Волнуется, прядая,
Спелая рожь,
Дуй, ветер,
Дуй, милый, покрепче!

Погода такая,
И ветер такой,
И право, не знаю,
Что стало со мной.

1927

УТРО СОВХОЗА

Еще рассвет мутней слюды
Кидал свои тупые стрелы,
Лишь воздух был свежей воды,
Да по буграм едва серело, —

Железо крикнуло: «Подъем!»
Железо взвизгнуло: «Идем!»

А ранний сон на тело падок.
(Давно ль кино, любовь, гармонь?)
Но с хрипом лезли из палаток,
И плавал пятнами огонь.

Минута, две — и музыкальней
Гремела смена умывальней.
Затем ревели трактора,
Готовые хоть в ночь ломиться.

И вот на сумерки утра
Снопам валится пшеница.

Ночь видя, наступает враг, —
Скорее падала в овраг.

Ее уход — не боль, не жалость.
Был час, когда скрывался зверь,
С другими красками мешалась
Рассвета прозелень теперь.
В степи — она была ряба —
Вдруг вышли желтые хлеба.

Я ожидал тебя не зря,
Тебя, благоприятный случай.
Хлеба светились, как заря,
Но только радостней и лучше.

Ты, жизнь, почаще нам дари
Все разновидности зари.

В хлебах от желтого покоя
Летели клочья, гром и пыль.
Шептались в страхе за рекою
Глухой бурьян, седой ковыль...

Машины — чуть воображенья! —
Как бронечасты шли в сраженья.

1927

СЕНТЯБРЬСКИЙ ВЕЧЕР

Вечер. Шаги темноты.
Воздух прохладен и мглист.
Тихо глядит с высоты
Желтый березовый лист.

Кажется, очень красиво:
Лунно-березовый свет,
Тонкий такой, молчаливый,

Будто немного раздет
Лунно-березовый свет.

Вот заиграла гармошка.
Ожили Разин, княжна..
Вниз позлащенной брошкой
В Волгу скатилась луна.

С легким шипеньем, вольна
Плещется в ноги волна.

Песня за песней — и вдруг
Там, где гуляли по Дону,
Едет дороден, упруг
Стенькин потомок — Буденный

Скачут лады вперебой.
Слышится окрик:
— На коней!
Режут простор голубой
Топот и крики погони.

Снова деревья, кусты..
Где-то играет горнист.
Тихо глядит с высоты
Желтый березовый лист.

Кажется, очень красиво:
Лунно-березовый свет,
Тонкий такой, молчаливый,
Будто немного раздет
Лунно-березовый свет.

Сердце уносит далече
Песни и лунный вечер.

1927

* * *

В поле голос чей-то
Долог и несносен.

На унылой флейте
Заиграла осень.

Темною прохладой
Веет с поднебесья.
Что же тебе надо,
Жалобная песня?

Или жалко лета,
Голубую пору?
Ах, осенней флейтой
Буду сам я скоро?

1927

* * *

Свод небес уныл и грязен.
Серая прохлада.
Кто-то смотрит желтым глазом
На меня из сада.

Как понять мне взгляд
упорный?..

Дни короче, уже.
В поле только ворон черный
Над холмами кружит.

На его полет безмолвный
Плачет горько ива.
И давно ль, сливаясь в волны.
Там гуляла нива!

И звенели наши косы,
И качались песни
Над зеленым сенокосом
В голубом зелесье.

Поневоле мутны думы —
День с утра несветел,
Поневоле так угрюмо
Скачет всадник-ветер.

Лишь за окном гудит метель,
Шуршит, ощупывая стену.

Наутро — двор, мороз, дрова.
Мне этот мир, конечно, тесен.
Но как просторна голова
Для сизокрылых дум и песен!

И уж изба, как в сборы сил,
Поет опять мне о надежде.
И снова запад осветил
Свои багряные одежды.

Тогда под пенье тишины,
Смотря на станцию украдкой,
Я говорю — Пройдут, как сны,
И зимний день, и отдых краткий.

А там опять пора погонь
За счастьем, словно за морокой...
Как хорошо горит огонь
В моей избушке одинокой!

1927

К НОВОМУ УРОЖАЮ

Здравствуй, добыча!
День-то хорош.
Каждого кличет
Спелая рожь.

Улыбку схоронишь —
Такая ж приснится.
Глянь за Воронеж --
Скачет пшеница.

С ветром гуторя,
Степью, обрывом
До Черного моря
Колышется нива.

Вот она, радость!
Вот оно, счастье!
Крой, не крадясь,
По вражьей масти!

Белые стаи
Пусть себе тужат.
Рожь — густая,
Пшеница — не хуже.

Труд для удачи —
Надежный возница.
С песнями скачут
Рожь и пшеница.

1928

ОТРЫВОК

I

Красней, красней, холодная рябина,
А с ней и ты, широколистый вяз,
А этот клен! Смотрю, не надивясь,
На желтый купол осени любимой.

В саду теперь
Растут одни цветы.
Где все березы,
Клены, вязы, ветлы?
И горя нет, что сыростью болотной
Несет с утра с туманной высоты.

Хоть лейся дождь —
В саду цветы все те же,
Они стоят, как гости дальних стран,
Лишь серый тон
Да вянущая свежесть
Нам выдают их дружеский обман.

Так хорошо,
Как будто день субботный

Идет селом, полями и рекой,
И каждый час, простой и беззаботный,
Всем обещает праздник и покой.

II

И по селу,
К дороге над рекою,
Скрипя, ползут тяжелые воза
На мельницу,
А утром на базар
С душистою и пухлою мукою.

Как я люблю
Средь озимей зеленых
В базарный день
Осенний след колес,
Когда везут в телегах подновленных
Плоды трудов: гречиху, рожь, овес.

Когда в полях пустынно и безмолвно
И только ветра слышен долгий вой,
Прозрачна даль.
Телеги, словно челны,
Качаются над зыбью полевой.

III

Еще милей домашние заботы,
Они легки, не гонят, как в страду.
Последние крестьянские работы
У памяти, как прежде, на виду.

Хлеб в закромах,
И в подполе картошка,
Капуста в кадках,
На зиму рассол.
Подновлено стекольщиком окошко,
Двор перекрыт,
В сенях исправлен пол.

В печной трубе
Пусть ветер воет волком —

Хозяин глух.
Чтоб было веселей,
То ладит он из хвороста кошелку,
То копылы готовит для саней.

И в ту же ночь под бабушкины сказки
Уж детям снятся резвые салазки.

1928

* * *

Высокое небо,
Пустынный свет.
Гудит, пролетая, осенний ветер,
И горбятся стебли истоптанных жнив
И смотрит на юг обнаженный обрыв,
И тонкая даль глубока и строга,
Где тихо за ветром кочуют стога.

А там, за обрывом,
В синий поток
Березка закинула желтый платок,
И белая машет кому-то рука,
И с желтыми листьями катит река,
Урюмо-ленива, темна и густа.
А с берега падают вздохи куста.

Хорошее время!
Хорошие дни!
Наверно, приходятся сердцу сродни.
И с этой прохладой я в дружбе давно,
И с ветром качаться мне тоже дано.
Я сам в этот месяц мудрей и цветистей.
Ах, желтые листья, ах, красные листья!

1928

ТУМАННЫЙ ДЕНЬ

Кругом тишина бездорожья.
Весь мир за туманом исчез,

Лишь веет предзимнею дрожью
От низких помятых небес.

Клубятся и тянутся мысли,
Как этот волнистый туман.
Посмотришь на изволок, вниз ли —
Везде поджидает обман:

Холмы превращаются в горы,
Озерами светит река.
Но странно — в такую-то пору
Дорога мила и легка.

Забыв об угрозах ненастья,
О мгливой погоде сырой,
Как будто шагаешь за счастьем,
Которое ждет за горой.

1928

ПРЕДЗИМЬЕ

Бьет в улицы дыханье стужи,
Ползет железный низкий хрип.
Лежит, как связки мертвых рыб,
Разбитый лед вчерашней лужи.

Мечта и лень —
Все мимо! мимо!
Все стужа враз подобрала
И порвала, как струи дыма,
Над жесткой нежитью двора.

И как бы глазу ни хотелось —
Иного нет: даль оттеня,
Лежит везде окаменелость
И сила, и упорство дня.

Но день прошел.
В вечерних тучах,
Смотри, качается метель,
И еле слышно, где-то в сучьях
Запела зимняя свирель.

Наутро будет снег пушистый,
Как белый звон колокольца,
И крик детей, и воздух чистый,
И санный выезд у крыльца.

1928

ХОРОШИЙ ДЕНЬ

Словно уговаривая,
Что-то долго-долго
Шепчет земле ветер.
Земля смеется
И машет стеблями старых трав.
До чего хорош день!

Улицы сегодня обрастают далью.
Улицы сегодня забыли про все.
С веселым криком они лезут на горизонт,
И видно, как им очень не хочется
Возвращаться оттуда.
До чего хорош день!

Переходя площадь,
Все смотрят немного вверх.
Переходя площадь,
Все замедляют движение
Секунды на две не больше, чем надо.
До чего хорош день!

Город сегодня подобен острову,
А кругом полевой океан.
Смотрите на юг,
И на север смотрите:
До чего хорош день!

Огромный
Сказочно-древний флот
Наступает на город.
Кораблей не видать —
Близко они не подходят,

И целый день
Бродят по небу
Их высокие голубые паруса.
До чего хорош день!

1929

ИНДИЙСКОЕ ЛЕТО

Роща опять разодета,
И тяжелеет река.
Здравствуй, индийское лето,
С легким вином холодка!

Липа, береза ли, дуб ли —
Точно цветы на полях.
Вновь у Советских республик
Индия нынче в гостях.

Ходит любимая гостья
По травяному кольцу.
Наши рябинные гроздья,
Вижу, ей очень к лицу.

И, как цветок гигантский,
Вышит на платье клен.
Песнею древнецыганской
Лучше бы вспомнить о нем.

Вспомнил и вытянул губы
Ветер. Кричат журавли.
Не золотые ли трубы
Где-то запели вдали?..

Но за прохладу и краски
Кто ж соберется хоть раз
К Индии съездить и братски
Кланяться ей от нас?

1929

ЗАКАТ

Я посмотрел на запад — там
В батальных, но высоких красках
Стояло небо. Словно где-то
Горели яро хутора
И в дым пылающих построек
Ржал ветер и бросал их пламя
В седую высь. А между тем
Все было очень сонно, глухо,
Как в старой сказке, иль в краю,
Далеком и забытом всеми.

И там же, дико золотясь,
Курились тучи — так недвижны
И в то же время так легки,
Что я подумал: в самом деле,
Подует ветер и — на небе
Окажется одна зола —
Все, что оставил день сгоревший.

Закат блистал. Кровавым светом
Он пробуждал тревогу, ту,
Знакомую, с которой жили
Когда-то мы не день... И вот
Услышал я: восток и юг
Вдруг превратились в гулкий топот
Безмерно частый. И оттуда
На запад, пенясь и хрипя,
Спешили конные полки,
Знамена пышно развевая.
Им никогда уж не вернуться.
Под ветром времени уснут
И победитель и, бежавший.

Я посмотрел направо — краски
Едва менялись. Слух ловил
Железнодорожный лай орудий.

А через час темнело. Город
Вернул меня к себе. В окно
Заря махала красной лентой
И молча уходила вдаль,
Неся над головой девичьей
Сноп спелой ржи. Прохлада

Росой вечерней задевала
Зари босые ноги. Ниже,
Во тьме, в траве, лежало детство.

1929

ПОЕЗДА

I

Мимо моего окна
Поезда проходят то и дело.
Мне тогда,
В часы досуга,
Видно,
Как по линии
По полю
Быстро-быстро
Серым зайцем убегает тишина.
Поезд скрылся. Смотришь —
Заяц здесь,
Прикорнул под выцветшим кустом.
Это мне какой-то стороной
Всякий раз напоминает сказку
Про лису и рака.
Впрочем,
Я давно храню о тишине
Образы иные.
Поезд скрылся.
Тотчас из земли
Кто-то лезет пухлый и огромный,
Цвета бледно-синего,
Как небо.
— Тишина! — я говорю тогда.
Вот она, измятая, больная,
Поднялась и встала на колени
(Шум вагонов дальше, глуше, глуше),
Вот прислушалась
И враз, мгновенно,
Встала на ноги,
Потянулась и зевнула:
— А-а!
И нигде ни звука.

Там, за ветром и лесом,
Там, где заря,—
Москва.

Городское зарево
Опять настраивает меня
На торжественный лад,
Словно кто-то далекий и сильный
Дружески жмет мою руку.

II

Три поезда нравятся мне
На этой железной дороге,
На этой татарской дороге,
Бежавшей когда-то на Русь.

Где Тихий почил океан,
Где синие воды, как вечность,
Качаясь под небом японским,
Лежат, позабыв о земле, —
От желтого берега Азии,
От сонных улыбок Будды,
Оттуда приходит о д и н.

В пути ему сотни раз
Сибирь напевала о шири,
Свистели над степью сурки,
Орлы сторожили их сверху
И штормом гудела тайга.
И слышалось: где-то за тундрой,
Своим чередом проходила
Полярная качка льдов,
А к югу, за сизым хребтом,
Ругался и плакал Китай.

Где розовый куст тамариска
(О сладость библейских мест,
О родина первых снов!),
Где желтое ложе пустыни
Подобно верблюжьим шкурам,
Разостланным всюду без края,
А дальние пестрые горы
Подобны гуляющим барсам, —

Оттуда, с отрогов Памира,
С Бактрийских ³ былых раздолгий,
От мест Зеравшанских,
Оттуда
Приходит в т о р о й.

Он видел: дымились пески,
На запад ползли барханы,
Сидели безвестные юрты
Как будто за горизонтом,
И там же гуляли стада,
Верблюды и, может быть, овцы.
И в каждом оазисе шумно
Встречали его и пели
Про сладкие тени садов,
Про темные очи красавиц.
И слышался голос Саади
С высокой, скрипучей арбы.

И маленьким горным аулом
Бежал с Кавказа т р е т и й
Все так же в Москву, в меня,
С пространством своим
И временем.

1929

СЫНУ АНДРЕЮ

*У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том...*
И я в тебя, как в жизнь, влюбленный,
В твой детский смех, в твой лепет томный,
Забыв свой возраст, мир и дом,
Твержу, как ты, не раз потом:
«У лукоморья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том».

Степной зарей, зарей весенней
Ты смотришь часто на меня
Иль скачешь с визгом, с диким пеньем,
Преобразившийся в коня.
И детства луч, как откровенье,

Вестей о счастье не храня,
Вдруг упадет и на меня.

Твой ясный, светлый мир не прочен,
Мы это знаем по себе,
И годы лучшие хлопочем
О золотой твоей судьбе,
Чтоб радость красила любое,
Как это детство голубое.

Когда же к ночи, утомленный
Дневной заботой и трудом,
Я молча возвращаюсь в дом, —
Тобой и встречей умиленный,
И, разговором оживленный,
Прошу тебя я об одном —
Сказать хотя бы перед сном:
*У лукомерья дуб зеленый,
Златая цепь на дубе том.*

1930

ОТТЕПЕЛЬ

Она пришла — и с горизонта
Глядят весь день глаза русалок,
И черный сад поднялся звонко
За кружевною стаей галок.

Тогда вся жизнь как будто мимо...
Все, что дремало, улыбнулось.
Но редкий видел, как сквозь зимы
Над городом летела юность.

1930

ПЕРВОМАЙСКАЯ ПЕСНЯ

Сильнее шаг!
Равнение по рядам!
Пусть враг глядит на нас
Угрюмо-сумный.

Гремите в трубы,
Бейте в барабан
И оглашайте воздух
Песней шумной!

Сильнее шаг!
Равнение по рядам!
Бьет революции
Упрямый барабан.

Идет, идет
Со славой новых дней
Торжественной походкой
Праздник мая.
Нам в этот день
Рабочий стан родней,
Чем солнце, ветер
И земля родная.

Сильнее шаг!
Равнение по рядам!
Бьет революции
Упрямый барабан.

Верь, слышат все
Советской песни лад
В любой стране,
В любом углу вселенной,
И каждый узник капитала
Рад:
Быть может, завтра он
Уже — не пленный.

Сильнее шаг!
Равнение по рядам!
Бьет революции
Упрямый барабан.

Нам первомайский смотр -
Залог побед.
Недаром враг сегодня
Дико злобен.
Но старый мир

(Пройдет немного лет)
Мы навсегда,
Навек его угробим.
Сильнее шаг!
Равнение по рядам!
Бьет революции
Упрямый барабан.

1930

* * *

Уж как дует с юга сильный ветер!
Машет солнце огненную гривой.
Здесь, в хлебах, мне кажется:
на свете
Есть одно лишь поле — эта нива,
Что до горизонта золотится.
С полем вечно солнце, ветер теплый,
К речке пролетающая птица
Да над низкою деревней ветлы.
Далеко глядят они. Их шорох —
Лучшее, чтоб вспомнить юность,
средство.
Кажется еще мне, что в просторах
Я везде свое встречаю детство.

Редкий день не выхожу я в поле,
На дороги узкие, кривые.
Хорошо мне! Только здесь, на воле,
Счастлив я. Как волны полевые
Убегают кланяясь кому-то,
Так из сердца выплывают думы
Друг за другом. Образы и думы!
Словно праздник любованье рожью.
Если б вечно видеть эти дали,
Полнить слух горячей, смутной дрожью
Спелой ржи и сквозь ремни сандалий
Чувствовать, как жарко дышат травы!

Вздохи ветра тише. Скоро вечер.
Облачная тень бежит, как стадо,

По полям, на запад. Скоро вечер.
Перед тем — янтарная прохлада,
И роса, и запахи полыни.
После месяца встанет желтым стогом
И пойдет, теряя в небе синем
Ключья снега, по крутым дорогам.

Ветер тише — темный, дальний, древний.
Я иду обратно. Мне приветно
Машут ветлы над глухой деревней,
Счень низкой и едва заметной,
Словно вся она объята дремой
Под истлевшей, выцветшей соломой.
Я смотрю и чувствую — унижен
Этим видом азиатских хижин,
Где судьбы безрадостной немилость
Чересчур уж долго загостилась.
Пусть уходит — к смерти наготове!
Шире дверь для буйной крепкой нови.
Чтоб переиначить навсегда
Это царство нищего труда!

Тени гуще. Где-то слышно стадо.
Тонко веет из долин прохладой.
На краю деревни, на поляне,
Под ветлой крестьянское собранье.
Чей-то голос, хриплый и метельный,
Говорил о жизни об артельной.
А вдали, что орды кочевые,
Вслушивались волны золотые.

1930

* * *

День построжал, угрюм и одинок,
Чернеет лес, как древние могилы.
Звеня ружьем и шелестя у ног,
О чем хлопочет ветер темнокрылый?

Его язык невнятен, но едва
В ходьбе прислушаюсь к его зауми,

Как проступают ясно все слова
В однообразном ропоте и шуме.

Не передать их, разум не губя,
Их смысл открыт на краткое
свиданье,
Когда весь мир вдруг взглянет на тебя
Сладчайшей сердцу тайной
мироздания.

Шуршат кусты все те же, тот же лес,
И прежнее ненастье за долиной,
Где старый дождь спускается с небес
Одной лишь бородой, седой и длинной.

Ружье звенит, а песня так проста.
Иди еще, в пути жнивье ломая!
Лови еще у каждого куста
Чуть слышный разговор времен
Мамая!

1930

* * *

Тот берег кажется в пыли.
Он весь как нежилое взгорье.
На рейде пусто. Корабли
Ушли с утра куда-то в море.

Но воздух полон гулкой дрожи.
Кипит котлом морской завод,
И горы кажутся моложе,
И жизнь опять меня зовет.

И только полночь, как немая...

Но и тогда, все кинув прочь,
Вдруг прошумит мотор играя,
Пропеллером буравя ночь.

Рассвет. Гудки. Да, жизнь полна.
Пой, черноморская волна!
Я, как умею, подтяну.
Пой за Советскую страну!

1930

* * *

Сегодня всё, как пальцы, врозь...
Но радость, ты опять упруга!
Уходит к северу мороз
От голубых улыбок юга.

И вот уж город незнаком.
Вот золото на камне чистом.
Взгляд девушки — таков закон! —
Стал удивительно лучистым.

На сквере стадо львов! Люби!
Песок берет меня и пьяно
Горячим ветром затрубил
О желтых шаях Туркестана.

Как прежде, сердце, пой, звучи!
Что не разгадано — красиво.
Нет только песен азанчи
До горного вдали массива.

1930

* * *

В ночную муть, туда, где рыщет тьма,
Идут беспечно башни и дома.
Но в долгих взглядах озаренных окон
Живет мечта о лучшем и далеком.
Но я люблю тот желтый свет вдвойне
За праздник чувств, разбуженных во мне,
За детскую тех чувств и дум окраску,
С которой мы мешаем явь и сказку,
Еще за то, что этот свет в окне
Рождает свет такой же и во мне.

1930

* * *

Уж время звезд неполных
И луч туманно-бел,
Уж месяц, как подсолнух,
Поник и облетел.

И в краски не простые:
Рядись в янтарь и кровь,
Ворота золотые
День открывает вновь.

1931

* * *

И эти сборы к выезду не впрок.
Пусть верен конь, надежно вздето стремя,
Но я забыл, что колени дорог
Песком глубоким засыпает время.

1931

* * *

Какой веселый, легкий небосвод!
Уносят тучки помыслы и строки.
Я час, другой смотрю туда и вот
Поймал их тень и спрятал в эти строки.

1931

* * *

Ночь звездная задумчиво тиха.
Походкой старомодной жениха
Выходит месяц. «Да, земля на месте!» —
Нашел и улыбается невесте.

1931

* * *

Рукой невидимой, младенчески неловкой
Кто на дворе играет так веревкой?

Вот кинул вверх, потом отбросил вправс
И снова вверх, и в этом вся забава.

В окно зимой смотрю, люблюсь ею,
И радуюсь, и сам себя жалею.

1931

* * *

Темный север дышит дальней вьюгой.
Вижу с лодки: пролетают к югу
Журавли, тревожно вдаль трубя.
Бросил весла, слушаю в раздумье
Журавлей и самого себя.

1931

ПЕРЕД КАРТОЙ

I

Вот север, и я уже выбыл,
И мне возвращаться не скоро.
В ладейке, наполненной рыбой,
Я слушаю песню помора:

«Ты, сударушка, молодушка моя,
Пошто свесилась головушка твоя?
Звук ли, слово ли роняешь, как в беде,
Будто серый пух пуцаешь по воде».

Отвечала тут молодушка ему,
Другу верному, любезному своему:
«Сине морюшко запенилось волной.
Ты побудь хоть день да ноченьку

со мной!

Может, завтра будет тихая вода,
Может, завтра ты закинешь невода?»

«Ох, сударушка, я рад бы всей душой,
Только слышу я: моряник небольшой.
Скоротаем ночку темну не одну,
Пошто смотришь ты, пужаясь, на волну?»

Уходила в море синяя ладья.
Прилетала к ней от смертыньки сватья.
Как была тут бурь-погодушка строга,
Вы прощайте, да навеки, берега!»

Запеть не мешало и мне бы,
Но с песней, как дальние вторы,
По краю безгласного неба
Скрипят ледовитые горы.

II

Самарканд, Мараканда... Над ним
Голубеют, как время, шатры —
Гур-Эмир, Шах-Зиндэ и Ханым,
А вдали, у Гиссарской горы,
Чуть звенит караван Бухары.

Льет прохладные тени Шир-Дар.
Скоро вечер. Пустеет базар.
Вспоминая, бренча по годам,
Ты о чем разгуделся, дутар?»

Селям, мое детство, селям!
Как на родине, в этом краю
Каждый камушек я узнаю,
Это я в переулке пою:
«Увядшей розой догорает закат.
Вот и она показалась на глиняной
крыше.

Кто-то во мне закричал и ударил
в набат.

Милая, слышишь?
Чувство мое, как весна, полыхай,
розовей!

Я ни за что не скажу тебе «тише»!

Как от смерти, шарахались юрты в полыни
И потом, отбежав без оглядки назад,
Отдыхали под знойные вздохи пустыни.

Травы реже.
Дымились барханы кой-где.
Поезд громко кому-то кричал о свиданье,
И шипели пески, будто в черной беде,
Уползая с крыльца станционного зданья.

1932

* * *

Серым шелком висят облака.
Я увидел и стал нелюдимом,
И весенняя кличет река
В перелески, заснувшие дымом.

Струи ветра поникли без сил,
Голубея на девичьих лицах.
Чуть заметное золото крыл
Отливает на длинных ресницах.

И уж чудом мне кажется день
Под навесом живым и воздушным.
Как рябая высокая тень,
Опускается дождь за Нескучным.

Чую, сердце пускается вплавь.
Золотые, счастливые бредни!
Словно я этот мир, эту явь
Увидал в первый раз и последний.

1932

* * *

По жаре дневной жестоко,
Друг, о мире не суди.
Видишь, ночь идет с востока
С желтой розой на груди.

Тихо светит миру роза,
Машет ветер, как лоза,
Бесконечно синей грезой
Зажигая нам глаза.

1932

* * *

Вижу, осторожно в палисадник
Заезжает с юга вечер-всадник.
Осмотрелся и, закрыв ворота,
Встал за кленом, прячась от кого-то.
Месяц вышел. Встали звезды-вехи.
Все дрожат в чуть уловимом смехе.

1932

* * *

Все заносит, все хоронит
Этот грязный сумрак дней.
Целый месяц ветер гонит
Стадо северных дождей.

Целый месяц. Эко бремя!
Дождь и тучи без конца.
Побирушкой встало время
И гнусавит у крыльца.

1932

ДОЖДЬ

В эту ночь мне снились горы хлеба,
А проснулся — вижу, дождь опять.
В лужах, отражающих полнеба,
Поле будет долго утопать.
Отдаю и слух, и зренье хляби.
Поднимаюсь, думая о ней.
Полосой туманно-сизой ряби

Опустился дождь еще сильней.
Только другу милому в угоду
Я бы мог назначить день такой.
Тихо одеваясь в непогоду,
Исчезают рощи за рекой.
Теплое, желанное ненастье!
Майское гудение струны,
Это — праздник. Это дождь, как
счастье,
Для людей моей большой страны.

май 1934

* * *

Я был разбужен шорохом.
В окно
Глядел рассвет,
И пели птицы лето.
Я молча улыбнулся:
Уж давно
Я не встречал
И не видал рассвета.

Как хорошо,
Как молодо светает!
Двор еще пуст,
Не пляшет детвора,
И дворник торопливо
Замечает
Следы того,
Чем жили мы вчера.

1934

* * *

По обычаю, встал на рассвете,
Так легко не вставал я давно.
Была оттепель. Мокрые ветви
Беспокойно смотрели в окно.

Дул ли ветер в саду оголенном,
Или ветви качались во сне, —
Я открыл им окно и с поклоном
Пригласил перебраться ко мне.

Боже мой, что тут стало с кустами,
Сколько спешки, какая возня,
Как худыми своими руками,
Торопясь, обнимали меня!

И от дружеских чувств излишня
Грудь и комната стали малы.
А в глазах полыхало сиянье
Золотистой предутренней мглы.

Было жалко, что миг этот краток.
Но осталось — уже не во сне —
Дорогой на душе беспорядок,
Да вот эти слова о весне.

1936

БУРЯ

Январский день был тих и мглист,
Но серый вечер, лоб нахмуря,
Принес глухой и долгий свист,
И разыгралась к ночи буря.

Был снег и мрак. Был рев и стон.
И все кружилось в белой пене,
И до зари дрожал мой дом,
И падал тополь на колени.

Рассвет неслышно провожал
Ее последние усилия,
И белый снег теперь лежал,
Как обессиленные крылья.

Так шла зима. И стекла рам
Еще боялись бурь и стужи,
Но горизонт по вечерам
Стал зеленеть и падать в лужи.

И вновь прислушивался дом:
Стоял туман и счет капли,
Порхало что-то над кустом,
И снег, ворча, менялся в теле.

Потом заря, потом цвели
По небу синие обводья,
И голос бурь возник вдали
Счастливой песней половодья.
Шел светлый май, слегка пыля,
И плыло солнце, балагурия.
И дождь спускался на поля
Из туч, как золотая буря.

1936

МОСКВА 1 МАЯ

Мир не видал таких картин,
Да, мы растем, цветем и крепнем.
Что значат праздники Афин
Перед таким великолепьем!

Так много-много впереди,
Так настоящее давалось,
Что каждый чувствовал в груди,
Как сердце розой раскрывалось.

И столько песен и огня,
Что не за две и три недели,
А к вечеру того же дня
Сады в Москве зазеленели.

1936

У ПАМЯТНИКА ЛЕНИНУ

Не изваянье — отраженье
Моих надежд, моей мечты.
Какое мысли напряженье
Хранят бессмертные черты!

Шумят над ним аэропланы,
Внизу автомобильный рой,
И дети, проходя утрами,
Его приветствуют игрой.

Мы все его одеты славой.
А он как будто — над рекой,
Следит за нашей переправой,
Указывая путь рукой.

1936

* * *

В небе солнце, гром и воды.
Утро — было, утра — нет.
За минуту непогоды
К нам пришли миллионы лет.

Теплый дождь стучит о крышу,
Солнце в лужу пало ниц,
Со двора я долго слышу
Крики океанских птиц.

1936

* * *

Вот здесь когда-то над водой
Мы с ней сидели на пороге,
И месяц коврик золотой
Нам расстилал тогда под ноги.

Порог давным-давно пустой.
О ней никто уже не спросит,
А месяц коврик золотой
Сюда по-прежнему выносит.

1936

Красные качнулись прутья где-то,
И возник протяжный синий гул.
Это благодатный вестник лета,
Это южный ветер в окна дул.

Голос матери? А он ведь умер.
Голос юности? Не жду гонца.
Все слилось и крепло в новом шуме,
В песне без начала и конца.

И забыл тогда я все обманы
И все то, что раньше было жаль.
Проходили в вышине туманы,
Ветром подгоняемые в даль.

Длился гул, смиряя злое лихо.
Радость пела тоньше волокна...
Я стоял и ветру тихо-тихо
Подпевал, забывшись у окна.

1936

ВСТРЕЧА

Красногвардейцу М. А. Розенштейну

Ну продолжай, ну говори,—
Так я просил его, волнуясь,
И вспоминали до зари
Год восемнадцатый и юность.

Какая встреча! Где тут спать!
Ведь сердце билось не утратой.
Мы были юноши опять,
С мечтой железной и крылатой.

Как в переключке, шли года,
И оживала вновь примета,
Что будем молоды всегда.—
Храня в душе весну и лето.

Наш день и прошлое — одно.
Цветы приходят через завязь,
Как незаметно под окно
Заря июньская подкралась.

Простясь узлом горячих рук,
Я это в памяти отмечу,
Как уходил мой гость и друг,
Заре и радости навстречу.

1936

* * *

Зима куда-то скрылась,
Сбежал и ветер злой.
Как брагой, пахнет сырость
Оттаявшей землей.

И вот я снова в поле.
Ступая на траву,
Как будто что-то вспомнил
И журавлей зову.

И мне не до забавы.
— В какие же края,
Любимые, куда вы,
Любимые, а я?

Но журавли высоко —
Им не слышать меня,
И еле слышный клекот
Доносится, звеня.

Слежу и сердцем таю.
О светлой грусти час!
Что ж стая золотая
Так быстро пронеслась?

Иду к домам равниной,
Сочится с неба лень,
И голос журавлиный
Преследует весь день.

По звездным заводям одна
 Плывет весенняя луна.
 Мне кажется, она слегка
 Качается от ветерка.
 Смотрю я долго на луну,
 Стою, как в золотом плену,
 И сам качаюсь я слегка
 От вздохов дальних ветерка.

ПЕСЕНКА О ЛЮБИМОЙ

Знать, судьба судила,
 Обернувшись тайной,
 Повстречаться с милой,
 Дальней и случайной.
 И вначале странным
 Будет даже имя
 Девушки незванной,
 Мною нелюбимой.
 Но потом, наладясь,
 Станем век друзьями,
 А любовь и радость
 Будут, да не с нами.
 И дорогой пыльной
 Промелькнет и — мимо
 Цвет волос ковыльный
 Головы любимой.
 Да в предсмертном часе
 Мне на вздох прощальный
 Прозвенит, как счастье,
 Голос твой хрустальный.
 Голос тихий, внятный,
 Как тогда весною.
 Хоть бы в час закатный
 Ты была со мною...
 Те же в звездной сини
 Золотые рожки.
 Лебедой, польнью
 Зарастут дорожки.

Цвет волос, как зелень луга.
Взгляд — сирени дальний куст.
Слышишь, милая подруга,
Как по синим струнам с юга
Тянет ветер так упруго,
Надувая парус чувств.

Дай же губы! В них люблю я
Эту розовую муть,
Чтоб за долгим поцелуем,
Краткой бури не минуя,
Нам бесследно потонуть.

Я не знаю, что случится,—
Может быть, ты всех милей,
Но, возможно, постучится
И другая баловница.
И открою сердце ей.

Иль сама уйдешь скорее —
Скука счастьем не родня,
И потом, другого грея,
Подставляя грудь и шею,
Уж не вспомнишь про меня.

Знаю, время все остудит,
Чувство хладом напоя,
Только как же это будет —
Над твоей любимой грудью
Грудь другого — не моя.

Дай же губы, не могу я
Продолжать щемящий бред.
Дай же в миге поцелуя,
Не болея, не ревнуя,
На огне твоём сгореть,

Чтоб и с новой переменой
(С ней дружись иль не
дружись...)

В сердце так же неизменно
Ты б была благословенна,
Как и молодость и жизнь.

ПЕРЕД БУРЕЙ

Что приводить из корана
Глухо взывающий стих,
Если в пути караванном
Не подымается вихрь;

Если до синих отрогов,
Гладких зализанных скал
Ночью за белой дорогой
Не прорыдает шакал?

Колокол мерно и четко
Режет последнему шаг.
Эта верблюжья походка
И по базарам в ушах.

Лучше затягивай песню
Про голубой Фарсистан.
Много на свете чудесных
И неизведанных стран.

Или поведай о том нам,
Что там: сады? Шираз?
Или то выступ темный
Манит причудой глаз?

— Нет, то недоброе мреет
Кинул шайтан узор.
Эй, шевели!.. Скорее
Надо добраться до гор!

АРБАКЕШ

Гор паруса все те ж,
Дремлют с утра тополя.
Ой, как поет арбакеш
О пустыне и о полях!

Умолкла песенка, а вслед за ней другая...
Барханы спят — немые сторожа.
Тропинка черная — дорога и вожжа —
Ведет к тебе, о степь моя родная!

* * *

Сталактитовые своды —
Шах-Зиндэ⁵, Биби-Ханым...
И опять меня уводят
К берегам давно родным.

И опять за теплой ранью
Голос матери притих.
Вьется шелестом корана
Подымающийся вихрь.

И опять, опять пустыню
Напоил песчаный звон.
Не заплачет мать о сыне,
Отошедшем в дальний сон.

Сталактитовые своды,
Шах-Зиндэ, Биби-Ханым —
Лишь намек, что все уходит
В голубой столетний дым.

СЮЗАНЕ

На шелково-лиловом сюзане *
Весенний сад
И райские долины...
И хорошо, что есть на сюзане.

Из каждого застывшего цветка
(Будь желтым он
Иль красным —
Все равно)

* Сюзане — род ковра из полотна или шелка с ручной вышивкой. — *Прим. автора.*

Глядит позолоченный Туркестан;
А с ним и я
На тихом караване дум
За уплывающее детство.

На шелково-лиловом сюзане
Апрельский дол,
Зовущие холмы
И женская весенняя душа
Над всем,
Как васильки на ярко-желтом круге:

* * *

Голова у шатров Бухары,
Сердце в Мервских песках зарыто.
Теплой синью Гиссарской горы
Машут страны давно позабытые.

И по взмаху о прошлом том,
Что вовеки рука не слепит,
Выплывает саманный дом
И Каршинские желтые степи.

Тихий дом тот оставлен давно.
Степь в апреле одном нас нежит,
Только в небе все то же вино,
Льются звезды ночами те же.

Да в пустыне в ночи глухой
Зарыдают, как прежде, шакалы.
И опять невозможный покой
И молчание, как бывало.

И не знаю — зачем зовут
И в забытые страны тянут.
Сонный ветер. Весна. Плыву.
Что там? Вечность глаза туманит?

Велик и многомилостив аллах,
Да будет в радость эта благостыня.
Передо мной библейская пустыня.
Велик и многомилостив аллах.

Велик и многомилостив аллах.
Коранный лик и тяжелей и строже
На этом знойном и лиловом ложе.
Велик и многомилостив аллах.

Велик и многомилостив аллах.
Но почему ты не скрываешь страх
Пред буйными стальными городами,
Что в яростном разбеге поездами
Грохочут коридорами в горах?

Безрадостной покорностью в полях
Глядит забытый караванный шлях.
Велик и многомилостив аллах!

ЗА ГЛИНЯНЫМ ДУВАЛОМ

За глиняным дувалом
И виноград, и розы,
И тишина, как сон,
И тишина, как имя
Любимой в первый раз.

За глиняным дувалом
Зеленоватый хауз,
А в хаузе джидда
Повисла, не качаясь,
У светлых берегов.

ПОЛДЕНЬ

Как с изразцов персидских, синь
Заброшена в шатер бездонный,
И я стою замороженный
Его величием простым.

Струят прохладу лишь сады
Да неумолчные арыки,
А возле радостный, безликий
Смеется тихо у воды.

За садом выжженная степь
Дрожит от выпитого зноя.
И это все мое родное —
И сад, и коршун в высоте.

* * *

Так с незапамятных времен
Глядели хмуро в двери
Столетний день и зимний небосклон,
И золотые перья.

А до заката дым, и снежный чад,
И солнце кругом тощим.
Да не о том ли галки нам кричат
По вечерам над рощей!

Не с того ли ветер говорлив,
И не светло, не горько,
Как падает его разлив
Сухой скороговоркой

Над леденеющей рекой,
Над парком — с вязью кружев,
И над кустами кувырком
Беснуется и кружит.

И не запомню той поры,
Когда бы шло иначе,
И только в небе топоры
На этот раз не плачут.

К людским не ластятся ногам
Трава и тихий щебень,
И трубит стоголосый гам
На площадях и в небе.

Но за громадой серой глыб
Увидел я, наверно,
Что раньше замечал из мглы,
Прокуренной, пещерной:

Столетний день и зимний небосклон,
И еле слышный шорох,
И беспредельный белый сон
В глухих до звезд просторах.

СТЕПЬ

Даль словно из легчайших плит:
Зеленых, сизых, ржавых,
Где вольный ветер шелестит
В хлебах и тучных травах.

Он, как бездомник гулевой,
Сгоняя думы в долы,
Поет, качаясь над травой,
Беспечный и веселый.

Все те же песни, тот же лад.
Все так же бестолковый,
Но я ему, как другу, рад,
Рад каждой встрече новой.

Даль убегает не спеша
Под облачную груду —
Как будто утварь шалаша
Ползет на горб верблюду.

И дали нет нигде конца.
Да и конца не надо,
Зеленый голос бубенца
О том звенит у стада.

Звенит и пляшет над травой.
Ах, есть ли звук милее!
Я сам качаю головой
В лад бубенцу на шее.

И сам готов его надеть
Себе за этот лепет,
Чтобы подвешенная медь
Напоминала степи.

Да, я люблю степной простор,
Люблю и синь, и ветер,
Как все, что песни и восторг
Родит на этом свете.

* * *

Город, город!
Странное лицо
У тебя по вечерам
Дыные.
Точно скалы,
Выплыли кольцом
И глядят громадой из пустыни,
И звенит от тысяч бубенцов
Воздух, то оранжевый, то синий...

Не уйти,
Не повернуть назад
К тихим речкам,
К темным косогорам,
Где одни мужицкие глаза
Верят тайнам синего простора.
И не там ли дымные воза
Облаков
Тоскуют без призора?

Город — пристань,
Город — корабли,
Переулки,
Улицы качая..
У бортов без усталы бурлит
Не толпа ль матросов удаляя,
Чтоб на завтра снова плыть и плыть
К берегам неведомого края?

ЗИМНЕЕ НЕБО

По мутным склонам небосвода
С глухих плотин, издалика,
Ползут разливы молока,
Как в половодьи тихом воды.

В них притаились крики вьюг
И не один метельный ворох.
И ловит, ловит чуткий слух
Далекий и протяжный шорох.

Проглянет облако на миг,
Блуждая тенью по распутью,
И так же вмиг белесой мутью
Задержится в полях немых.

И день и сумрак, как не свой,
Висят зевотой ледяною
Вблизи, вдали и с высоты,
И сумрак тот же за луною,
Что опустился на кусты.
И небо здесь, и небо там, —
Седых туманов полный стан.

*

Но вот, где толпы облаков
С утра темнели стаей пленных,
Где изредка синела высь, —
Безумье ярое белков
Вдруг опускается вселенной,
К нам опрокинутою вниз.

Оно молчит, и взгляд потухший,
Слегка похожий на гранит,
Несытой жадностью глядит
На наши вздрогнувшие души,
На наши тощие сердца
(Взгляд обезумевший слепца!).

И вновь по склонам небосвода
С безвестных рек, издалика

Ползут разливы молока,
Как в половодье тихом воды.

Но миг еще, и вот растет
Шатер, опущенный в полмира,
И веет сказкой от высот
Полувоздушного Памира.

И сердцу трепетно легко,
Скользит минута золотая.
И верится — недалеко
Поля маисные Китая.

Поля и рощи, и луга,
Песков желтеющая скатерть,
И розоватые снега
Горы Кунь-Ляо на закате.

Вот только приподнять бы край
Ножом на этой мгливой коже!
А там нефритовый Китай,
На все Китай не похожий!

За полдень — снег.
Без ветра — снег.
Как белый пух,
Как белый мех,

Ложится тихо,
Как туман,—
Незванный гость
Полярных стран.

Незванный гость,
Незванный друг,
Предтеча бурь
И дымных вьюг.

* * *

Снова север, снова тучи,
Холодок любимца-ветра,
И соломенные кучи
Деревень, едва заметных.

По полям зарей весенней
Расплескалась рожь далеко.
Полевое вознесенье
Сердце радует до срока.

А задумчивые рощи
И река — коса любимой.
Желтый клен, где берег тощий,
Загуторился с рябиной.

Русь и поле, даль и север.
Пересвисты и полеты.
Все готовы, думы, все вы
В эти тихие ворота.

* * *

Вьюжные крики.
Полночь дымится
Снежную мутью. В окно
Глянут и скроются белые лица,
Глянут — и снова темно.

Полночь из Пушкина...
Вьюгой разбужен,
Сказочный мир мне знаком.
Что же, смелей!
Заходите на ужин!
Полно бродить под окном!

Вьюга ворожит.
Полночь дымится,
Так же как было: в окно
Глянут и скроются белые лица,
Глянут — и снова темно.

Где-то далеко сети
Дождь распустил (как снится!).
Это танцуют дети,
Те, что должны родиться.

* * *

Белеет рожь. Синеют перелески.
Такой простор, такая благодать!
И веют ветра палевые всплески,
И ни о чем не хочется гадать.

Белеет рожь. Шуршит. Заколыхалась.
Она во мне, как радужный покой.
Как будто чья младенческая шалость
Меня коснулась пухлою рукой.

Я улыбаюсь этой ласке нежной,
Как дети улыбаются во сне.
Вон облако в одежде белоснежной
Кому-то машет, может быть, и мне.

Да, я на все еще смотрю любуясь,
Еще чужда раздумий горьких муть,
И мало жаль, что пляшущую юность
Уже не повторить и не вернуть.

Ведь если б можно повторить любое,
Она б была, пожалуй, преглупа,
Пушай о ней напомним голубое
Да звонкая покосная тропа.

Поля бегут, волнуясь и гуторя
Невнятные слова. Бегут поля.
Вдали стоят, вращая в небо-море,
Веселые, родные тополя.

ВОКЗАЛ

Часов электрических взмахи
Людьми управляют и тут,

Роня надежды и страхи
С железных улыбок минут.

Сраженные той же улыбкой,
Как будто с предсмертной тоски,
То грубо, то жалобно-хлипка
За окнами воют гудки.

И машет, качается время
Лицом пожелтевшим луны,
И где-то за стрелками дремлют
Хребты голубой тишины.

А в залах гуденье и шорох
И воздух волнисто-рябой,
Но в жестах, словах и во взорах
Хранит свою тайну любой.

Пора.
И — зияющий выход.
И в ночь обреченный вагон.
Уселись — стало вдруг тихо,
И тихо качнулся перрон.

И вот, в дребезжаньи и хрусте,
Сквозь мглу и сугробы, и ширь,
Немного тальянки и грусти,
Пять верст от Москвы и — Сибирь.

НАЗАВТРА БОИ

Еще свисает мрак
Над миром остальным,
Еще не свергнуты
Короны,
Банки,
Тресты,
И трубит рог кроваво-черной
мести,

И клевета ползет,
Как едкий дым.
Еще свисает мрак

Над большей частью мира,
Послушной вожделениям банкиров.

Но в недрах стран,
Чьи гербы — ложь и страх,
И золото —
Кричащее, больное,—
От фабрик, мастерских
И гулких шахт
Встают они
В нужде, в пыли и зное.
И высится пожаром возмущенье,
И слышен рев:
«Восстанем, братья!
К мщенью!»

Истории шаги неторопливы.
Но этот рев
И это буйство сил,
И тот пожар —
С победно-красной гривой
Рабочий класс нам дважды возносил.

И падал старый мир
От нестерпимой муки,
И упадет,
Заламывая руки
В последний раз.
(Рабочий знает —
Близок этот час.)

Редает мрак
Над миром остальным.
Дрожат испуганно
Короны,
Банки,
Тресты...
Пусть трубит рог
Кроваво-черной мести
И клевета
Ползет, как едкий дым.
Но близок день —
Висит над миром кара.
Назавтра бой и зарево пожаров.

ЧУЖИЕ КОРАБЛИ

Ходят, бродят по морю
Невдали
С воровскою гонорью
Корабли.

А они не пташенки —
Пушки в ряд,
Да на берег нашенский
Все глядят.

Что лежит, мол, плохо там,
Чтобы влезть,
Дескать, ихним хлопотам
Место есть.

И с надеждой смелою
Ширят пасть,
Дескать, русским белую
Надо власть.

Ходят, бродят по морю,
Невдали
С лордовскою гонорью
Корабли.

Броненосцы сытые —
Что гора,
И дымят сердитые
Крейсера.

Все-то с пулеметами —
Все на нас,
Все-то с самолетами —
Чтобы враз!

И баллоны крытые
Располны
Хлорами, ипритами
Для войны.

При картине этакой
Шутки прочь!

Завяжи-ка метинку,
Как помочь.

А как скажешь: «Надобно! —
За рога,
Не крестом да ладаном
Гнать врага!»

Утвердим могущество
До высот.
Каждый от имущества
Пусть внесет.

Гривенники, рубрики —
Самолет.
Вот по этой рубрике
Будет флот.

И статьей особою
Будет газ.
Пусть сверкает злобою
Вражий глаз.

Верю: будем сильными —
На сто миль,
Чтоб за эскадрильями
Эскадриль.

Дело уже начато,
На мази.
А война означится —
Отрази.

А случится, временем,
Тишь да гладь —
Самолетам бременем
Не лежать.

Газы на вредителей,
На поля
Очень убедительно
Пропылят.

Словом, дело вспенится.
В честь и впрок,

Чтоб с врагом разделаться
В нужный срок.

Помни только: по морю,
Невдали,
Бродят с черной гонорью
Корабли.

Доводы не веские
Лишь глухим.
Всю страну Советскую —
В Авирахим.

8-е МАРТА

А было так
(Тут память не соврет.)
Мать чуть жива,
Сестра в нужде изныла,
И у жены увял до срока рот,
Простившийся навек с улыбкой милой.
Так было прежде —
Память не соврет.

И эту боль несли года, века...
Такую муку не легко измерить.
Мы лишь теперь глядим издалека
На прошлые невзгоды и потери.

Но все прошло.
Теперь пора иная.
Как в половодье
Села, города.
В гигантский рост
Встает страна родная,
Покончившая с прошлым навсегда.
Как половодье — села, города...

В такой стране и женщина не та,
Не та,
Что связана была семейным кругом.
В ее глазах другая красота,

Ее зовут товарищем и другом.
Я с радостью припоминаю хаты.
В одной из них
Живет моя сестра.
Недавно пишет мне:
«Мой славный брат,
Порадуйся, я сейчас — кооператор,
И дел по лавке целая гора.
Порадуйся еще:
В колхозе я,
Как говорится,
Прямо у руля».
Я радуюсь,
И кто же будет мрачен
Простым строкам,
Таким совсем простым?
Наивность детскую ее простим..
В ее работе будут неудачи
И промахи.
Но как же быть иначе?

Да, женщина-колхозница не та,
Что связана была семейным кругом
В ее глазах другая красота,
Ее зовут товарищем и другом.

СТРОЙКА

Все эти дни
Под стук и гам,
Глаза лишь разомкну,
Она приходит по утрам
К открытому окну.
Окно, пожалуй, высоко —
Так метров десять есть.
Она ж стоит совсем легко
И может как-то сесть.

Напротив строят новый дом,
Уже видна стена.
Но что за разговор о том?
Я знаю, кто она.

Ее я видел сотни раз
В Москве и там, и тут.
Отец ее в чести у нас,
Зовется — Новый труд.

Девчонку Радость узнаю
У своего окна, —
Я сам ведь про нее пою,
И вот сама она.
Ее наряд простой весьма,
Он даже чуть в пыли,
А глянет — в комнате весна
И думы расцвели.

Она молчит
И так стоит,
А спросишь — поворот,
Потом на стройку побежит
И что-то там поет.
И еле внятный голосок
Веселым серебром
Звенит и тает у лесов,
Где строят новый дом.

И так все дни
Под стук и гам,
Глаза лишь разомкну,
Она приходит по утрам
К раскрытому окну.
И я работаю, как вол,
С утра и дотемна.
Вот снова утро.
— Кто пришел?
Ты, Радость?
Ты?
Она.

* * *

В просветах голубых стволов
Горят сиреневые горы.
Горят сиреневые горы

В просветах голубых стволов,
И падает значенье слов,
И сладко утихает горе.

Остановился и повис
День облачный перед закатом.
День облачный перед закатом
Остановился и повис.
И с облаков раздумье вниз:
Не повернуть ли вновь обратно?

И вдруг такая тишина,
Как бы запевшее молчанье.
А рядом сонное журчанье.
И тополей голубизна.

* * *

Синью теплою крадясь
До крыльца дорогѳй,
Я не думал, что радость
Будет та же с другой.

Та же трепетность встречи,
Ласки пьяной руки
И под розовый ветер
В облаках огоньки.

Мне казалось, не будет
Ни утрат, ни потерь,
Милый шаг не забудет
Открывать мою дверь.

Но случилось иное.
Кто-то память отсек,
И уж сердце не ноет
Об ушедшей навек.

Снова частые встречи.
Те же речи — с другой.
Тот же в небе под вечер
Месяц желтый — дугой.

* * *

Кто пожелает мне счастья.
Счастья не вижу примет,
Лишь вспоминаю все чаще
То, чего уже нет.
Думаю только о милой.
Думы, как голый сад.
Все пролетело мимо
И не вернется назад.
Были все реже встречи.
Не повторится юность.
Не потому ль в тот вечер
Милая не вернулась.
Не помогает поле,
И не поможет ветер,
Крик затаенной боли
Слышу в его привете.
Грустью и ранней досадой —
Чем же себе отвечу.
Юность зеленым садом
Не прошумит навстречу.
Не прошумит, не спляшет,
Не загорланит песен,
И на пиру за чашей
Я просижу невесел.
Как мимолетно счастье
И невозвратен след.
Лишь вспоминаю все чаще
То, чего уже нет.

* * *

Ребенок я — и степь, как бубенец.
Я — юноша. Минута и — отец.
И вот теперь я под руку с бедой.
Пред целым миром голый и седой.

* * *

«Кто плачет там?» — спросил со дна оврага
Тростник, качаясь, как во сне.
Проходит год. И дуб лишь по весне
Прошелестел над серебристой влагой:
«Лиса поймала зайца. Детским воем
Последний раз он огласил поля».
Ручонкой бледной еле шевеля,
Сказал тростник: «Завидую обоим».

* * *

Сегодня краски ниже и бледней.
Сегодня я печальней и бедней.
Лишь вечер наградил меня богато:
Сходила скорбь вся в золоте заката.

* * *

Вражду и дружбу обойдя,
Спокойно провожая лето,
Я песню древнюю дождя
Сегодня слушал до рассвета.

С рассветом дождь ушел в зарю,
И где-то тонко пела просинь,
А в сад мой, полный слез, — смотрю,
Калитку открывает осень.

* * *

И мирный свет, и шорох древней воли.
В ногах — земля, и месяц — под рукой.
Глухой костер в туманно-синем поле
И долгих песен эхо над рекой.

Взгляд грустного смущения и боли
И горького раздумья над строкой.

Горит костер в туманно-синем поле,
Сжигая эхо песни над рекой.

* * *

Не унесу я радости земной
И золотых снопов зари вечерней.
Почувствовать оставшихся за мной
Мне не дано по-детски суеверно.

И ничего с собой я не возьму
В закатный час последнего прощанья.
Накинет на глаза покой и тьму
Холодное, высокое молчанье.

Что до земли и дома моего,
Когда померкнет звездный сад ночами,
О, если бы полдневной синевой
Мне захлебнуться жадными очами

И расплескаться в дымной синеве,
И разрыдаться в час осенний,
Но только б стать родным земной листве,—
Как прежде, видеть солнечные звенья.

Последний год Есенина



ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕСЕНИНА

(Из воспоминаний)

Голубая да веселая страна!
Пусть вся жизнь моя за песню продана.
Но за Гелю в тених ветвей
Обнимает розу соловей.

С. Есенин

Конец февраля.

Захожу на Брюсовский к Гале Бениславской¹, жившей в то время с сестрами Сергея Есенина — Катей и Шурой.

В комнате шли какие-то передвижки, приготовления.

Катя и Галя встречают меня молча, то и дело переглядываясь и загадочно улыбаясь друг другу. Похоже, от меня что-то скрывают. Так и есть.

На угловом столике, перед увядшими цветами, — кажется, мимозами, почти заслонившими собой последний портрет Есенина (с. П. Чагиным), лежит развернутая телеграмма.

Терпеливо и спокойно, ни о чем не спрашивая, жду разгадки «тайны». Это прием. Катя не выдерживает первая и вопросительно смотрит на Галю:

— Сказать? А? Можно?

Галя легким кивком головы соглашается, и Катя, загораясь розовой улыбкой, громко возвещает:

— Завтра приедет Сергей!

Помню, эта весть как-то одновременно и обрадовала и напугала меня. Примерно с имажинистской² поры, вернее с выхода тоненькой тетрадочкой книжки стихов «Исповедь хулигана», я полюбил Есенина, как величайшего лирика наших дней. Встреча с ним после годичной разлуки мне казалась счастьем. Но почти этого же я испугался. Мне тогда часто думалось, что рядом с Есениным все поэты «крестьянского толка», значит и я, не имели никакого права на литературное существование.

(О кавычках: Есенина я никогда не считал ни крестьянским, ни крестьянствующим поэтом.)

На другой день Катя, Галя и я, втроем, отправляемся на Курский вокзал встречать. Растянулись цепью по всей платформе — кто увидит первым?

Подходит поезд. Внимательней смотрим на богатые вагоны; ведь Есенин писал, что в Баку ему жилось хорошо и в смысле заработка. Вдруг, точно откуда-то разбежавшись, на ходу поезда, в летнем пальто, с подножки вагона 3-го класса на участке Екатерины легко спрыгивает Есенин — и прямо в объятия сестры.

— Я ехал в первом классе, с одним бакинским товарищем, — говорит он торопливо после восклицаний и поцелуев, слегка отворачивая голову в сторону. — Все большие чемоданы оставил там ...в Баку. Не собирался... сразу.

Через полминуты из того же вагона, откуда спрыгнул Есенин, шел его бакинский товарищ (брат П. Чагина) с чемоданами в руках.

Выходим на вокзальную площадь. Вечереет. Падает теплый голубоватый снежок. Извозчики, трамваи, автобусы. Как поедет? Только не на трамвае. Автобусы, пожалуй, интересней.

Есенин, до того оживленный, тихо предлагает:

— Поедем на автобусе.

Но усевшись так, мы вчетвером еле-еле набрали денег на билеты. У Сергея — ни копейки, а у встречавших его — мелкие серебрушки и медяки.

На другой день, после утреннего чаю, Есенин долго и не спеша рылся в своих чемоданах, извлекая оттуда рукописи, портреты и новые костюмы.

К красивой одежде он всю жизнь питал слабость и нередко покупал вещи, ему совсем ненужные. Примерить же лишний раз какой-нибудь шелковый платок или надеть японский халат — доставляло ему не меньшее удовольствие, чем прочитать свое только что написанное стихотворение. Он, двадцатидевятилетний, как походил тогда на смешного, шаловливого и наивного юношу! Трудно было не улыбаться и не радоваться его почти детской простоте и непосредственности.

— А вот дети... — немного погодя, показывает он мне фотографическую карточку из десятка других зарубежных, — с Айседорой Дункан³.

На карточке девочка и мальчик. Он сам смотрит на них и словно чему-то удивляется. О девочке через несколько дней после этого, передавая свои рукописи сестре Екатерине и Гале, он говорил еще.

До встречи с литературными друзьями Есенин почти не пил. Да и после, за весь этот приезд из Баку, он напивался не больше четырех-пяти раз, избегая скандалов и не впадая в буйство. Он даже хвалился, что Кавказ исправил его.

Выглядел он очень хорошо, пополнил. Меняя как-то рубашку, весело смеялся, хлопая себя по распухшему животу:
— Растет!

Первую неделю был необычайно бодр, весел.

Из Баку он привез целый ворох новых произведений: поэму «Анна Снегина», «Мой путь», «Персидские мотивы» и несколько мелких стихотворений.

«Анну Снегину» набело он переписывал уже здесь, в Москве, целыми часами просиживая над ее окончательной отделкой. В такие часы, по домашнему уговору, его оставляли одного, предварительно сняв трубку с телефона.

Своим литературным друзьям он охотнее всего читал тогда эту поэму. Было видно, что она нравилась ему больше, чем другие стихи.

Поэма готова. Я предложил ему прочитать ее в «Перевале»⁴. Есенин согласился.

В 1925 году это было его первое публичное выступление в Москве. Для храбрости (трезвым он был очень не храбр и, читая стихи, всегда сильно нервничал) перед приходом в «Перевал» он с кем-то немного выпил.

Поместительная комната Союза писателей на третьем этаже была набита битком. Кроме перевальцев, «на Есенина» зашло много мапповцев⁵, «кузнецов»⁶ и др.

Но случилось так, что прекрасная лирическая поэма не имела большого успеха. Спрошенные Есениным рядом с ним сидящие за столом о зачитанной вещи отозвались с холодком. Кто-то предложил «обсудить». Есенин от обсуждения наотрез отказался.

— Вам меня учить нечему. Вы сами все учитесь у меня. Потом читал «Персидские мотивы». Эти стихи произ-

вели огромное впечатление. Талантливейший лирик и чтец снова владел своей аудиторией.

Все же с собрания Есенин ушел немного расстроенный, маскируя свое недовольство обычным бесшабашным видом. Перед уходом спросил тов. Воронского⁷, нравится ли ему поэма.

— Да, поэма мне нравится, — ответил Воронский.

Связывая все это с последующими наблюдениями и разговорами о литературе с Есениным, а также с отношением критики к поэту, перевальская неудача кажется мне как бы тоном на весь 1925 год. В этом литературном году у Есенина было не мало таких неудач и, наверное, больше, чем в любом из прошлых лет.

Дня на два-на три из деревни к Есенину приехала мать. Не хватает одного отца — мать, сестры с ним. Есенин весел, все время шутит. Комната Гали Бениславской полна. В Есенине как будто заговорила давняя крестьянская тяга к семейственности, к уюту.

Из чужих — только я, но и меня он тут же обращает в «своего».

Круг знакомых, в котором Есенин вращался, в то время был небольшой, преимущественно писательский.

На вечеринке, устроенной в день рождения Гали, он познакомился с Софьей Александровной Сухотиной (урожденной Толстой), пришедшей с Б. Пильняком и М. Шкапской.

Часам к двенадцати вечера Есенин был пьян, но держался хорошо. Наибольшее внимание за этот вечер он уделял своей новой знакомой.

Пели песни. Есенин попросил меня спеть частушки. Я спел, просили еще. Но я уже заметил на себе ревнивый взгляд Есенина и замолчал.

У пьяного у него была тяжелая привычка говорить и слушать только о себе. Это я помнил с 1923 года.

Из Баку Есенин привез несколько новых песенок. Все они, конечно, не бакинские.

Вспоминаю сейчас одну, некоторые места которой потом были повторены в апрельском стихотворении «Песня».

Вот так положеньице,
Сам не понимаю.

Потерял я улицу,
Где я проживаю.

Улица, улица,
Улица широкая,
Что же ты, улица,
Стала одинокая.

Пожалуй, не реже распевались им такие отрывки:

Думать не годится —
В жизни живем лишь только раз,
В жизни живем лишь только раз,
Когда монета есть у нас.

Или:

Я сегодня пью в последний раз
Кубок жизни прожитой...

И эти строки через месяц звучали уже по-другому, по-есенински, с новой силой и яркостью:

Опрокинутая кружка
Средь веселых не для нас.
Пей и пой, моя подружка,
На земле живем лишь раз...⁸

И:

Я сегодня пью в последний раз
Ароматы, что хмельны, как брага...

Народную песню и частушки Есенин любил больше. Редкий день он не приставал к своим сестрам спеть что-нибудь. Те пели, а он слушал, иногда подпевал, лежа на кровати.

Но, слушая и подпевая, Есенин как бы проверял песню. Он взвешивал каждое распеваемое слово. Только этим и можно объяснить такие случаи, когда он вдруг обрывал песни, говоря: «так плохо», и, подумав, тут же предлагал другой вариант.

Поет Екатерина:

На берегу сидит девица,
Она шелками шьет платок.
Работа чудная такая,
А шелку ей надостает.

Так ли поется песня, или вторая строчка искажена, но Есенин уже поправляет:

— Лучше: «она платок шелками шьет».

Не хуже своих дочерей пела песни Татьяна Федоровна — мать поэта. Ее пение отличалось большой задушевностью и простотой.

С каким глубоким волнением слушал ее каждый раз Есенин!

Любимой песней его, а также и его деда была:

Прощай, жизнь, радость моя!
Слышу, едешь от меня.
Нам должно с тобой расстаться,
Тебя больше не видать.
Эх, темная ночь,
Темна ноченька, не спится,
Сама знаю почему.
Я сама ему сказала:
Не гонись, мальчик, за мной,
За моею красотой.
Помню майский день прекрасный...

и т. д.

Изумительная по музыкальности и по глубине лиризма, эта песня сразу переносила слушателя в далекую и все еще такую родную и милую деревенскую обстановку.

Еще чаще с сестрами и один пел такую песню:

Это дело было
Летнею порою.
В саду канарейка
Громко распевала.
Голосок унывный
В лесу раздается.
Это, верно, Саша
С милым расстается.
Выходила Саша
За новы ворота,
Говорила Саша
Потайные речи:
— Куда, милый, едешь,
Куда уезжаешь?
На кого ж ты, милый,
Меня оставляешь?
— На людей, на бога.
Вас на свете много.
Не стой предо мною,
Не обливай слезою,
А то люди скажут,
Что я жил с тобою.
— Пускай они скажут,

Я их не боюсь.
Кого я любила,
С тем я расстаюсь.

В первой половине марта Есенин заговорил об издании своего альманаха. Вместе составляли «план». Часами придумывали название и, наконец, придумали:

- Новая пашня?
- Суриковщина.
- Почему не Заречье?
- Стремнина?
- Не годится.
- Поляне.

— По-ля-не... Это, кажется, хорошо. Только вспоминаются древляне, кривичи...

Остановились на «Полянах». На другой день о плане сообщили Вс. Иванову. Поговорили еще. Редакция: С. Есенин, Вс. Иванов, Ив. Касаткин и я — с дополнительными обязанностями секретаря.

Альманах выходит два-три раза в год с отделами прозы, стихов и критики. Сотрудники — избранные коммунисты-одиночки и попутчики.

Прозаиков собирали долго. По замыслу Есенина, альманах должен стать вехами современной литературы, с некоторой ориентацией на деревню. Поэтов наметили скорей: П. Орешин, П. Радимов, В. Казин, В. Александровский и крестьянское крыло «Перевала».

Пошли в Госиздат к тов. Накорякову. «Основной докладчик» — Есенин. Я знал, что Есенин говорить не умеет, поэтому дорогой и даже в дверях Госиздата напоминал ему главные пункты доклада.

Но... ничего не помогло. «Докладчик» заволновался, и вместо доклада вышла путаница. Тов. Накоряков деликатно, как будто понимая все сказанное, задал Есенину несколько вопросов.

Есенин оправился и заговорил ровнее, «по существу». Основной пункт о задачах альманаха и о гонораре (предлагался выше красновского⁹) объяснил толковей.

Но с альманахом ничего не вышло. Есенин через две недели опять уехал на Кавказ, поручив Вс. Иванову и мне хлопотать об издании.

Обсуждая визит Госиздату, мы не могли без умиления и смеха вспоминать о Вс. Иванове. За всю беседу с тов.

Накоряковым он не проронил ни слова. Зато уж молчал он бесподобно. Так редкий умеет молчать.

Вторая половина марта.

Есенин ничего не пишет, тянется к бутылке. Размножаются «приятели». Борются с разной литературной шатией близкие Есенина бессильны.

В комнате тесно. В сорока квадратных аршинах живут четверо, плюс почти каждую ночь один или два случайных соночлежника. Но о новом помещении никто не заикается. Купить не на что, а получить из РУНИ — безнадежное дело, хотя и были попытки.

Есенина дергают. Как ни плохо разбирается в людях, он все же замечает, что в литературном кругу не все ему друзья. Трезвый, он, как всегда, со всеми вежлив и любезен. Ни об одном писателе не отзовется плохо или грубо.

Вот он в редакции, встречается с N. Как старые друзья, они целуются, затем долго шутят, рассказывают друг другу свежие анекдоты.

Но, уходя из редакции, Есенин знает, что N сейчас же ему вслед начнет доказывать всем, что «Анна Снегина» не поэма, а ерунда, а «Персидские мотивы» — так себе, романсики какие-то.

Нужно уметь ладить. Есенин умел. Но такая зависимость все время тяготила его. Разве вот издавать свой журнал?

Помню, в первые дни по приезде из Баку Есенин, просматривая свои новые стихи, словно осматривал оружие, которым он еще раз прибьет всяких штабс-маляров, газетных певцов и обсасывателей слова. Это настроение сказалось на первой же пирушке, устроенной С-вой, где он говорил тогда одному редактору примерно следующее:

— Ты думаешь, я от тебя завишу? Ничего подобного. Ты от меня зависишь, а не я...

Перед отъездом в Баку Есенин уже не говорил, да и навряд ли думал так.

Он похудел. Становился раздражительным.

В конце марта снова уехал в Баку. Он уезжал как будто примиренный с чем-то и был далеко не весел. Накануне отъезда, совершенно трезвый, он долго плакал.

В последний день грустная улыбка, вызывающая в близких жалость и боль, не сходила с его лица. Он, действительно, походил тогда на теснимого и гонимого.

В апреле по Москве поползли слухи о близкой смерти Есенина. Говорили и о скоротечной чахотке, которую он, простудившись, будто бы поймал на Кавказе.

В половине мая Есенин опять в Москве. Он похудел еще больше и был совершенно безголосый. Да и во всем остальном он уже не походил на прежнего Есенина. Одетый скромно, он смахивал на человека, только что выбежавшего из драки, словно был побит, помят.

О болезни с его же слов я помню следующее:

— Катались на автомобиле. Попали в горы. В горах, знаешь, холодно, а я в одной рубашке. На другой день горлом пошла кровь. Я очень испугался. Чагин¹⁰ вызвал врачей. «Если не бросишь пить, через три месяца смерть», — сказали они и положили меня в больницу. Праздник, Пасха, а я в больнице. Мне казалось, что я умираю. В один день я написал тогда два стихотворения: «Есть одна хорошая» и «Ну, целуй меня, целуй».

От бакинцев, заходивших на Брюсовский, я узнал еще: по выходе из больницы Есенин запил напропалую. Таким же примерно возвратился он в Москву.

Галя Бениславская и Екатерина принялись было опекать его от влияния «друзей», число которых росло с поразительной быстротой. К сожалению, союзников у них было мало.

Но и в этот приезд круг «друзей» Есенина еще не был так случаен, как это наблюдалось позже к осени.

Некоторые из знакомых явно старались подчинить Есенина своему влиянию. Но все эти влияния, в большинстве случаев, сводились к одному спаиванию. Один «старый друг» тащит его в пивную, а другая «старая приятельница» очень мягким голосом приглашает его куда-нибудь на именины или просто в одну семью посидеть, а, пригласив, обязательно добавит:

— Там тебя, Сережа, ужасно все любят.

На Троицын день (кажется, 7 июня) Есенин поехал к себе на родину в село Константиново. Поехал на свадьбу, приглашенный еще в Москве женихом — его двоюродным братом. Вместе с Есениным и за ним следом из Москвы

приехало восемь человек гостей, в числе которых оказалась особа из постоянных ресторанных посетительниц, под пьяную руку прихваченная С-вым и Ст-вым.

До этой поездки я, как и все знавшие Есенина, считал его за человека сравнительно здорового. Но здесь, в деревне, он был совершенно невменяем. Его причуды принимали тяжелые и явно нездоровые формы.

Через два дня, возвращаясь вдвоем на станцию, я осторожно сказал ему:

— Сергей, ты вел себя ужасно.

Слегка раздражаясь, Есенин стал оправдываться:

— А это не ужасно: приехать в мой дом, к моим сестрам с проституткой? Зачем они привезли ее? Это не оскорбление? Я по-своему протестовал и только.

Но чуть ли не в этот же день, вспоминая деревню, Есенин оправдывался уже по-другому. Он жаловался на боль от крестьянской косности, невежества и жадности. Деревня ему противна, вот почему он так...

— Это не оправдание. Тебя все ценят и любят, как лучшего поэта. Но в жизни этого мало. Пора растить в себе человека.

Есенин был почти трезв, заговорил торопливо:

— Ты прав, прав... Это хорошо «растить человека». Разве вот жениться на С. Толстой и зажить спокойно.

И дорогой и в Москве он не раз вспоминал о Толстой.

В деревне к Сергею Есенину пришел Александр Федорович (дядя Саша). Пришел пьяный. Наслышавшись о «богатстве» своего племянника, он решил прозондировать почву насчет займа. Принес ведро крепкого самогону и после первой же чашки приступил к делу:

— Плохо живется, Сережа. Хочу торговлишку открыть.

— Торгуй, что же.

— Торгуй-то торгуй, да вот денег нет.

— Дам. Сколько надо?

— Тыщенки две бы хватило.

— Дам! Две тыщи? Дам. Приезжай в Москву. У меня в банке десять тысяч.

На печи лежали отец и дед поэта, головами к стенке. Заслышав разговор о тысячах, дед поднял седую голову и прислушался как бы в ожидании — не отвалит ли внучек с тыщенку сейчас. Но внучек со своим дядей говорили уже

о другом, и дед опустился на подушку, по-стариковски жалуясь:

— Вон Митька Савостин поступил на должность в Рязани. Получает тридцать рублей в месяц. Ну, скажи, завалил семью деньгами.

Эти слова деда вспоминались потом часто, как забавный анекдот.

После деревни Есенин несколько дней жил у меня, в комнате у Никитских ворот. Я постарался некоторых из его друзей «отшить», а близких уговорил о выпивке не заикаться.

Есенин крепился четыре дня. На пятый день его кто-то утащил в пивную. Он запил, хотя ненадолго — денег не было.

К нему каждый день заходило по несколько человек. Среди заходивших были пропойцы, которых Есенин не помнил и часто не знал совсем. Они преследовали его по улицам и на квартире. И в этом преследовании проявляли поразительную настойчивость. Двух-трех таких к осени Есенин знал хорошо. По своей подозрительности он принимал их то за агентов МУРа, то ГПУ.

Приехал за двумя тысячами дядя Саша. Но Есенин сам занимается на папиросы.

Новых стихов нет. Достает из чемодана неотделанную поэму «Страна негодяев» (называлась еще «Номах»), просит выбрать какой-нибудь отрывок для журнала «Город и Деревня», в котором я тогда работал. На другой день приношу ему сто пятьдесят рублей. Есенин расплачивается с мелкими долгами и дает дяде Саше на дорогу, а сам через день опять без копейки.

Как-то вечером зашел ко мне В. Правдухин¹¹. Есенина не было. Я рассказал ему о его безденежь.

— Я сегодня был в Госиздате, — говорит Правдухин, — и возмущался, что там выпускают всякую дрянь, а кого нужно, не издают. Поговорю завтра еще.

Правдухин ушел. Минут через пять приходит Есенин, трезвый, один. Изданию полного собрания сочинений обрадовался.

— Полное собрание... очень кстати...

Но прежде чем идти в Госиздат, я предложил ему поговорить с издательством «Современные проблемы». Он не возражал. Я тотчас же позвонил Н. А. Столяру.

На другой день Есенин поехал торговаться. Издатель жался. Уехали ни с чем. А на следующий день под диктовку И. Евдокимова¹² Есенин писал в Госиздат заявление об издании своих сочинений.

Идя в Госиздат через Кузнецкий мост, мы закурили. Минуты через две Есенин, замедляя шаги, стал осматриваться.

— Ты что ищешь, Сергей?

Есенин с озабоченным видом показал мне на смятый окуроч в руке:

— Урны не видать.

Он нерешительно бросил окуроч под сточную трубу, а бросив, оглянулся на далеко стоящего милиционера.

Есенин накануне слышал, что окурки на улице бросать нельзя.

Двенадцать часов дня. У меня в комнате Акульшин и Сахаров¹³. Говорим о Есенине. Он не ночевал у меня.

Дверь открывается, и входит тихо Есенин — усталый, бледный. Он трезв. Поздоровавшись со всеми, садится на диван. Слово извиняясь, спрашивает:

— Поесть не найдется?

— Сейчас будем есть и пить чай.

Разогреваю на примусе котлеты с макаронами. Котлет пять штук. Лишнюю — Есенину.

— Я наелся... Пусть Акульшин съест...

— Акульшин сыт, — говорю я.

— Нет... давайте тогда разделим поровну.

Котлета разделена на четыре части. Сергей съел свою часть, остальные — не трогали.

— Я не буду больше, пусть Акульшин, он голодный.

Акульшин, по привычке, постеснялся, но, чтобы не пропадало «добро», съел.

«Заморив червячка», Сергей повеселел.

Возвращались откуда-то по Б. Никитской домой. С потемневшего неба спускался теплый июньский вечер. Только что прошел небольшой дождь. Веет свежестью, как хорошо!

Глядя на четкие силуэты городских зданий и словно прислушиваясь к глухому немолчному гулу центральных площадей, Есенин, как будто мечтая о чем, заговорил:

— Ну, разве можно сравнить город с деревней. Здесь культура, а там... дунул и пусто.

(Слово «культура» он произнес с сильным ударением на втором слоге, так что слышалось почти два у).

Он был еще под впечатлением от последней поездки в деревню.

В июне Есенин пил не больше, чем в первый приезд из Баку. Но был слабее и потому чаще казался пьяным. Рассчитывая на получку из Госиздата, за собрание сочинений, говорил то о поездке за границу (к Максиму Горькому), то в Башкирию (на кумыс)¹⁴, то опять на Кавказ.

В это же время наметилось сближение с С. Толстой.

Решаю на лето оставить Москву и я. Но как быть с Есениным? Один «без присмотра» и в чужой комнате жить, конечно, не захочет. От Гали Бениславской он ушел совсем.

И вот как-то нерешительно, почти нехотя, стал он перебираться на новое местожительство. Но чемоданы и корзина с книгами после его переезда еще целую неделю стояли у меня в комнате.

Перед моим отъездом из Москвы ко мне зашел знакомый студент, любитель-фотограф. Есенин сидел у меня, что и нужно было зашедшему. Он снял Есенина одного и со мной вместе. Одиночная карточка испортилась, зато очень хорошо вышла вторая. Но карточка не понравилась Есенину. Без ретуши она была слишком верна, Сергей выглядел на ней худым, усталым.

Недели через две-три мы встретились опять, на новой квартире Есенина у С. Толстой.

Есенин собирался на Кавказ.

За неделю-за две до отъезда Есенин как будто немного ожил, повеселел. Полупьяный, любил петь свою «Песню»: «Есть одна хорошая песня у соловушки». Пел он ее, слегка приплясывая, на мотив, близкий одной кавказской песенке.

Была, кажется, последняя вспышка есенинской жизнерадостности и его беспечности. Вторая поездка на Кавказ оказалось далеко не исцеляющей. Через месяц с небольшим Есенин вернулся оттуда еще более надорванным.

Перед отъездом на Кавказ заглянул дней на пять в свое Константиново. Из деревни Есенин, прямо с вокзала, заехал в «Красную новь». Мне и еще кому-то из перевальцев, случайно бывшим в редакции, стал читать свои новые стихи, написанные на родине:

Каждый труд благослови, удача.
Рыбаку — чтоб с рыбой невода,
Пахарю — чтоб плуг его и кляча
Доставали хлеба на года...

В приведенных строках мне слышались новые, бодрые нотки. Выйдя из редакции, я заговорил с Есениным о деревне. Стихотворение «Каждый труд благослови, удача» он написал на Оке, два дня пропадая с рыбацкой артелью. Другие стихи были также автобиографичны.

Квартира С. А. Толстой в Померанцевом переулке, со старинной громоздкой мебелью и обилием портретов родителей, выглядела мрачной и скорее музейной. Комнаты, занимаемые Софьей Андреевной, были с северной стороны. Там никогда не было солнца. Вечером мрачность как будто исчезала, портреты уходили в тень от абажура, но днем в этой квартире не хотелось приземляться надолго. Есенин ничего не говорил, но работать стал больше ночами.

Новое местожительство, видимо, начинало тяготить Есенина. Примерно с первой половины сентября он попросил Галю найти ему квартиру. Квартира была найдена, и задаток оставлен. Но в этот же день задаток был взят обратно, — повлиять на Есенина в некоторых случаях было очень легко.

Приблизительно в то же время такая же история получилась с санаторием Мосздрава.

Нервы Есенина были расшатаны окончательно. Нужно было лечиться по-настоящему. Галя уговорила его отдохнуть в одном подмосковном санатории. Дня четыре она и Екатерина хлопотали в Мосздраве. Наконец путевка получена, санаторий осмотрен; все хорошо.

Но в последний момент Есенин ехать не захотел.

На его поездке в санаторий из близких настаивали не все. Софья Андреевна пожелала ехать вместе с Есениным, но для нее не было путевки. Есенин воспользовался этой возможностью не ехать в санаторий.

Как-то в конце лета я встретился в «Красной нови» с Р. Акульшиным, и по давней привычке запели народные песни. Во время пения в редакцию вошел Есенин. Пели с полчаса, выбирая наиболее интересные и многим совсем неизвестные старинные песни. Имея своим слушателем такого любителя песен, как Есенин, мы старались вовсю.

Есенин слушал с большим вниманием. Последняя песня «День тоскую, ночь горюю» ему понравилась больше первых, а слова

В небе чисто, в небе ясно,
В небе звездочки горят.
Ты гори, мое колючко,
Гори, мое золото...

вызвали улыбку восхищения.

Позже Есенин читал:

Гори, звезда моя, не падай,
Роняй холодные лучи...¹⁵

Но настроение этого и другого стихотворения («Листья падают, листья падают») мне показалось странным. Я спросил:

— С чего ты запел о смерти?

Есенин, как будто заранее готовый к такому вопросу, торопясь, стал доказывать, что поэту необходимо чаще думать о смерти и что, только помятуя о ней, поэт может особенно остро чувствовать жизнь.

Разговор о том же через некоторое время повторился.

Есенин ночевал у меня, придя пьяным в часа три ночи. Утром, проснувшись, он как-то безучастно ждал завтрака. Вид у него был ужасный. Передо мной сидел мученик.

— Сергей, так ведь недалеко и до конца.

Он устало, но как о чем-то решенном, проговорил:

— Да... я ищу гибели.

Немного помолчав, так же устало и глухо добавил:

— Надоело все.

Мне показалось тогда, что Есенин теряет веру в себя. Стараясь подбодрить его, я советовал ему на время бросить писать, полечиться от запоев, оглядеться, найти новые темы и т. д. в том же роде.

Есенин молчал.

С конца сентября и до клиники с Есениным, когда он был пьян, я старался не встречаться, но иногда он сам заходил ко мне.

Пьяный, Есенин стал невозможно тяжел. От одного стакана вина он уже хмелел и начинал «расходиться».

Бывали жуткие картины. Тогда жена его Софья Андреевна и сестра Екатерина не спали по целым ночам.

Вне квартиры верным телохранителем Есенина был его двоюродный брат Илья Есенин. Присматривая за больным, он тоже хлебнул горя не мало.

Отрезвев, Есенин говорил, что из того, что случилось, ничего не помнит. По моим наблюдениям, в этом была правда наполовину.

Однажды я был свидетелем его бредового состояния. У Есенина начинались галлюцинации. Усиливалась мания преследования.

Я ухватился за мысль о его принудительном лечении. Организовали «заговор», куда вошли Екатерина, Анна Абрамовна, я и еще кто-то. На другой день я зашел к А. К. Воронскому, с предложением участия в «заговоре».

Но наивность предприятия обнаружилась быстро. Принудительное лечение могло бы только ускорить трагическую развязку. Есенин ни о каком лечении пока не хотел и слышать.

Его запои в это время чередовались с большой точностью. Я уже заранее знал, в какие дни Есенин будет пьян и в какие — трезв. Неделя делилась на две половины, на трезвую и пьяную. Трезвая половина случалась на сутки дольше.

Хмелея, Есенин становился задирой. Оскорбить, унижить своего собеседника тогда ему ничего не стоило. Но оскорблял он людей не всегда так, без разбору или по пьяному капризу. Чаще нападал на тех, на кого имел какой-нибудь «зуб». Иногда вспоминал обиды, нанесенные ему два-три года тому назад.

Старые знакомые потихоньку сторонились его, а на их место притекала богема, нищая и жадная до выпивки на чужой счет.

Трезвый Есенин, с первого взгляда, мало походил на больного. Только всматриваясь в него пристальней, я замечал, что он очень устал. Часто нервничал из-за пустяков,

руки его дрожали, веки сильно были воспалены. Хотя бывали и такие дни, когда эти признаки переутомления и внутреннего недуга ослабевали.

В первый и во второй день после запойной полунедели до обеда Есенин обыкновенно писал или читал. Писал он много, случалось до восьми стихотворений сразу. Сказка о «Пастушонке Пете» написана им за одну ночь.

По заведенному обычаю часам к пяти приходил с арбузом я, и вместе обедали. А после обеда Сергей читал свои новые стихи. Софье Андреевне и Екатерине эти стихи уже читались до меня, с новой читкой завязывался спор: какое из написанных стихотворений лучше. Есенин слушал и спокойно улыбался.

В «трезвые» дни Есенин никого не принимал. Его никуда не тянуло.

Не припомню ни одного случая, чтобы ему захотелось повидаться с кем-нибудь из своих друзей. Их как будто никогда у него и не было.

Встречи с ними на девяносто девять процентов происходили в ресторанах, пивных, на чужих квартирах и где попало, только не в нормальной человеческой обстановке.

В его отношениях к людям бесспорно было одно: он дружил и поддерживал знакомство только с явными поклонниками своего поэтического таланта.

Поэтому-то так трудно судить о том, как относился Есенин к тому или иному товарищу.

Вечера проходили в беседах о литературе, об отдельных писателях и поэтах, о просмотре новых №№ «Красная новь» и «Новый Мир» или в чтении Пушкина, Фета.

Приходила Екатерина, позже из школы — Шура. Компанией в четыре-пять человек отправлялись в кино.

Последние месяцы Есенин был необычно прост. Говорил немного и как-то обрывками фраз. Подолгу бывал задумчив.

Случайно сказанное кем-нибудь из родных неискреннее слово его раздражало.

К простоте отношений с людьми, к простоте речи, одежды, так же как и в творчестве, он тяготел весь 1925 год и теперь особенно.

Помню, еще по весне на какой-то вопрос Есенина один молодой поэт затараторил так, как будто читал передовицу. Есенин вежливо остановил его и предложил говорить проще:

— Ты что, не русский что ли, оскабливаешь каждое слово?

Сказано было так, что поэт (очень самолюбивый) только «отряхнулся», сказал себе под нос «и правда» и заговорил другим языком.

Какие отношения были между мной и Есениным, об этом лучше других знала его семья.

За все встречи с Есениным с сентября 1923 года (шапочно я с ним знаком с зимы 1914—1915 года по университету Шанявского) до нижеописанного случая он всегда обходил меня своими выпадами. Иногда он словно нарочно поощрял мою независимость, позволял мне без скандалов говорить ему довольно горькие истины, чему нередко я удивлялся сам, приписывая такую незлобливость некоторым побочным обстоятельствам.

Но вот Есенин полез драться и на меня. Возможно, на этот раз я был неосторожен.

Компанией человек в пять обедали в одной азиатской столовой — на Трубной площади. Один из компании раздобыл водки. Есенин не ждал ее и не просил, но водка уже принесена. Оставалось пить.

За обедом шла беседа о литературе, о Есенине. Его хваливали. Один пристегивал себя к нему в качестве второго Баратынского.

Мне не нравился этот тон. Не соглашаясь в чем-то с «Баратынским», я начал с указания на то, что из поэтического венка Есенина с течением времени несколько листиков перепадут Блоку, и немного С. К. Сравнить Есенина с Пушкиным рановато. Есенину, может быть, лучше бы сейчас с полгода помолчать, пополниться новым содержанием, присмотреться к тому, что он еще не вобрал в орбиту своего творчества.

«Баратынский» возражал.

Диспут этот происходил между мной и им. Есенин в начале что-то (хорошо не помню) говорил, а потом только слушал, недоверчиво посматривая на меня.

Идя Петровским бульваром, Есенин, слегка захмелевший, заговорил сам:

— Я признаю на себе влияние Блока, Клюева, но только не К.

Я привел в доказательство два стихотворения К., напечатанные в 1910—12 гг.

На Тверском бульваре (шли бульварами) я свернул к себе на квартиру, пообещав компании прибыть через полчаса.

Меня встретила Софья Андреевна, встревоженная и беспомощная.

— Как Сергей?

— Пьет... С-ов принес ужас сколько вина.

Я хотел было уйти, Софья Андреевна удержала меня.

Через несколько минут из соседней комнаты вошел Есенин — совершенно пьяный. В его помутневших и блуждающих взорах и в движениях рук было что-то тревожное, мрачное. Он шел, словно готовясь к опасному прыжку.

Увидев меня, стал ругаться. Потом схватил поднос, но один из присутствующих удержал его.

После этого я не виделся с Есениным дня три.

На четвертый день часа в два с половиной ночи просыпаюсь от стука в дверь. Встаю с постели, зажигаю свет.

С виноватой улыбкой входит Есенин. Шляпа низко опущена на лоб, на который в беспорядке свисали золотые пряди волос.

Ничего не говоря, я раздел, разул его и заботливо уложил на диване.

Вопросами общественной жизни Есенин интересовался мало и разбирался в них плохо. Но советскую власть он называл своею, рабоче-крестьянскою. Не однажды довольно строго выговаривал своей младшей сестре Шуре:

— Ты почему не комсомолка?

В апрельском письме из Баку ко мне есть такая строчка:

«Ну, советская власть прекрасная!»

Смерть Фрунзе, которого Есенин знал хорошо по рассказам А. Воронского, повергла поэта в глубокое уныние, хотя тут примешивалась боязнь за А. Воронского, за литературу.

На политические явления он заметно старался смотреть глазами своих друзей-коммунистов.

Октябрьский вечер. На столе журналы, бумаги. После обеда Есенин просматривает вырезки. Напротив с «вечеркой» в руках я, Софья Андреевна сидит на диване. Светло, спокойно, тихо. Именно тихо. Есенин в такие вечера был тих.

Через Бюро вырезок Есенин знал все, что писалось о нем в газетах.

О книге стихов «Персидские мотивы», вышедшей в мае в издательстве «Современная Россия», в провинциальных газетах печатались такие рецензии, что без смеха их нельзя было читать.

Заслуживающей внимания была одна вырезка со статьей Осинского из «Правды». Но и она была обзорной: о Есенине лишь упоминалось.

О поэме «Анна Снегина», насколько помнится, не было за полгода ни одного отзыва. Она не избежала судьбы всех больших поэм Есенина.

Есенин с горькой, еле заметной улыбкой отодвигал от себя пачку бумажек с синими наклейками.

Говоря о художественной литературе, Есенин не раз жаловался на журналистов, в большинстве своем с искусством ничего общего не имеющих.

Но большее возмущение вызывали у него те из них, которые, по выражению самого Есенина, «развили и укрепили в литературе пришибевские нравы».

Литературные симпатии Есенина были всецело на стороне Воронского, но своей такой «партийности» он старался не обнаруживать.

Исключения были редки, но были.

Весной в Доме Союзов был литературный вечер, где выступали преимущественно мапповцы. Приглашенный одной «мапповкой», Есенин пришел с Галей Бениславской. Когда читал свои стихи поэт (очень ославленный), Есенин слушал его, низко опустив голову. Потом встал и, не дожидаясь конца стихотворения, решительно и молча вышел, не сказав даже слова своей спутнице.

В начале осени как-то вечером я жаловался Есенину на самого себя. Есенин лежал на диване, а я сетовал на трудности, на неуверенность. Есенин, словно раздумывая о чем-то, спокойно заметил:

— Стели себя, и все пойдет хорошо. Стели чаще и глубже.

После одной читки новых стихов Есениным я искренне удивился его плодовитости. Довольный, Есенин улыбался:

— Я сам удивляюсь, — молвил он, — прет, черт знает как. Не могу остановиться. Как заведенная машина.

Осенью Есенин закончил «Черного человека» и сдавал последние стихи в Госиздат для собрания сочинений. Еще раньше, отбирая материал для первого тома, он заметил, что у него мало стихов о зиме.

— Теперь я буду писать о зиме, — сказал он. — Весна, лето, осень как фон у меня есть, не хватает только зимы.

Появились стихи: «Эх, вы, сани! А кони, кони!..», «Снежная замять дробится и колется...», «Слышишь, мчатся сани...», «Снежная замять крутит бойко...», «Синий туман. Снеговое раздолье...», «Свищет ветер, серебряный ветер...», «Мелколесье. Степь и дали...», «Голубая кофта. Синие глаза...» и три стихотворения, не увидевшие света, написанные им в клинике.

Над «Черным человеком» Есенин работал два года. Эта жуткая лирическая исповедь требовала от него колоссального напряжения и самонаблюдения. Я дважды заставлял его в черном цилиндре и с тростью перед большим зеркалом с непередаваемой нечеловеческой усмешкой, разговаривавшим со своим двойником-отражением или молча наблюдавшим за собой, как бы присматриваясь к самому себе.

То, что вошло в собрание сочинений, — это один из вариантов. Я слышал от него другой вариант, кажется, сильнее изданного. К сожалению, как и последние три зимних стихотворения, этот вариант «Черного человека», по-видимому, записан не был. И вообще, сочиняя стихи, Есенин чаще заносил на бумагу уже совсем готовое, вполне сложившееся, иногда под давлением необходимости сдавать в журналы.

Нередко диктовал своей жене — Софье Андреевне.

Есенин обладал огромной памятью. Он мог читать наизусть целые рассказы какого-нибудь понравившегося ему писателя, хотя за последний год память немного сдала, случалось, что стихи забывались.

Не помню обстановки, были вдвоем, — Есенин заговорил о творчестве.

Теперь трудно даже приблизительно восстановить его отдельные слова или выражения. Лишь осталась в памяти его мысль.

Есенин говорил о том, что для поэта живой разговорный язык, может быть, даже важнее, чем для писателя-прозаика. Поэт должен чутко прислушиваться к случайным разговорам крестьян, рабочих и интеллигенции, особенно к разговорам, эмоционально окрашенным. Тут поэту открывается целый клад. Новая интонация или новое интересное выражение к писателю идут из живого разговорного языка. Есенин хвалился, что этим языком он хорошо научился пользоваться.

Осенью 1923 года Есенин также говорил, что его дружба с гнилью и «логовом жутким»¹⁶ ему необходима для творчества. Возможно, это не полно, но ясно, что без этой дружбы стихов о «Москве кабацкой» не было бы.

За ростом новых литературных сил Есенин следил очень внимательно. Быстрый подъем некоторых поэтов как будто даже тревожил его, вызывая в нем опасения за свое первенство. Знамя же первого поэта он старался не выпускать из своих рук до конца дней.

В конце осени Есенин опять думал о своем журнале. С карандашами в руках втроем с Софьей Андреевной мы несколько вечеров высчитывали стоимость бумаги, типографских работ и других расходов.

Друзей действительных и друзей в кавычках у Есенина было огромное число. Редкий из писателей и поэтов с ним не был знаком.

Как правило, Есенин со всеми прост и деликатен. Если кто-нибудь говорил ему плохое о знакомом, он, слегка хмельной, считал своим долгом заступиться за оговоренного. А когда ему доказывали, что N все-таки плох, Есенин терялся и делал вид, что никак не может поверить этому.

Похоже было — на людей Есенин смотрел через какие-то свои, им самим сделанные, розоватые очки. Люди у него все хорошие, порядочные. Но чувствовалось, что где-то глубоко у него затаено другое, которому Есенин сознательно не давал ходу.

Пожалуй, наибольшее дружеское расположение Есенин питал к Петру Орешину¹⁷. Их связывало многое и в прошлом и в настоящем.

Очень хорошо относился к Ив. Касаткину, уважал А. Воронского.

Был близок с Вс. Ивановым, Б. Пильняком, И. Л. Вардиным, Л. Леоновым, Ив. Вольновым, М. Герасимовым, П. Радимовым, В. Александровским, Вл. Кирилловым и с некоторыми другими.

Одним из лучших современных писателей Есенин считал Вс. Иванова.

После долгой размолвки, примерно за месяц до клиники, Есенин первым помирился с Мариенгофом¹⁸, зайдя к нему на квартиру.

Дня через два после примирения Есенин сказал мне: — Я помирился с Мариенгофом. Был у него... Он неплохой.

Последние два слова он произнес так, как будто прощал что-то.

Он ценил Н. Клюева¹⁹, которого всегда называл своим учителем.

Из классиков своим любимым писателем называл Гоголя.

Толстого как моралиста не любил, но от некоторых его художественных произведений приходил в восторг.

Больше всего Есенин боялся... милиции и суда.

Возвращаясь из последней поездки на Кавказ, Есенин в пьяном состоянии оскорбил одно должностное лицо. Оскорбленный подал в суд. Есенин волновался и искал выхода.

Это обстоятельство использовала Екатерина.

Есенин около 20 ноября ночевал у своих сестер в Замоскворечье.

— Тебе скоро суд, Сергей, — сказала Екатерина утром. — Выход есть, — продолжала сестра, — ложись в больницу. Больных не судят. А ты, кстати, поправишься.

Есенин печально молчал. Через несколько минут он, словно сдаваясь, промолвил:

— Хорошо, да... я лягу.

А через минуту еще принимал решение веселей:

— Правда. Ложусь. Я сразу покончу со всеми делами.

Дня через три после описанного разговора Есенин лег в психиатрическую клинику. Ему отвели светлую и довольно просторную комнату на втором этаже.

Последний раз у Есенина в клинике я был 20 декабря вместе с Екатериной.

За двадцать пять дней отдыха (срок лечения предполагался двухмесячный) Есенин внешне окреп, пополнел, голос посвежел, но, несмотря на старания врача А. Я. Аронсона, Есенин не имел покоя в клинике. Оставшиеся за стеной лечебного заведения то и дело тормозили его. В это время он порвал связь с С. А. Толстой. Одна старая знакомая пришла с поручением от Э. Н. Райх²⁰, которая требовала деньги на содержание дочери, грозила Есенину судом и арестом денег в Госиздате. Денег в Госиздате оставалось мало, тяжело обременяли постоянные заботы о сестрах, о родителях. Срок лечения ему казался слишком длительным.

Из клиники Есенин решил ехать в Ленинград. Об этом он говорил больше всего. Впереди новая жизнь. Через Ионова²¹ устроит свой двухнедельный журнал, будет редактировать, будет работать.

За вечер дважды читал мне три новых стихотворения. Одно, если не изменяет память, начинавшееся со строк

Буря воеет, буря злится.

.

Из-за туч луна, как птица,
Проскользнуть крылом стремится²²...

поразило меня своей редкой силой выразительности и образности. Под свежим впечатлением оно показалось мне лучшим из всего написанного им за этот год.

На другой день Есенин покинул клинику.

Три дня я не видел его.

23 декабря, зайдя к С. А. Толстой, часов в шесть, слышу звонок. Входит Есенин и, не поздоровавшись, идет в комнату. Вещи готовы. Все уложено в чемоданы. Перед выходом Есенин дает мне госиздатский чек на семьсот пятьдесят рублей — он не успел сегодня заглянуть в банк и едет в Ленинград почти без денег. Попросил выслать завтра же.

Через две недели мы должны были встретиться в Ленинграде.

ПРИМЕЧАНИЯ

СТИХИ

Раздел стихов составлен на основе прижизненных сборников поэта «Теплый говор» (1927), «Ветер с поля» (1931), «Стихи» (1933) и некоторых разысканных публикаций в периодике. По свидетельству Е. А. Есениной-Наседкиной, значительная часть стихов В. Ф. Наседкина, опубликованных в периодике двадцатых-тридцатых годов, до сих пор остается разысканной.

Раздел составлен по хронологическому принципу. Стихотворения, дату написания которых установить не удалось, помещены в конце раздела.

¹ К у г а — болотное круглостебельное, безлистое растение, которое идет на плетушки разного рода и на оплет стульев; губчатый тростник (словарь В. И. Даля).

² С а л м ы ш — река в Оренбуржье на границе с Башкирией.

³ Б а к т р и я — древняя область Средней Азии, расположенная на северных склонах Гиндукуша и по среднему течению р. Аму-Дарьи, отделявшей Бактрию от Согдианы. Главный город — Бактра (развалины около современного г. Балх в Афганистане). В различные исторические эпохи территория Бактрии изменялась, и в ее состав входил ряд районов современного Таджикистана, Узбекистана и Туркменской ССР.

⁴ Х а н а а н — 1) под этим названием во многих местах Библии подразумевается земля ханаанская; 2) младший сын Хама, внук Ноя, от него повели, якобы, родословную племена ханаанские.

⁵ Ш а х - З и н д э (таджикско-персидское, буквально — живой царь) — выдающийся мемориальный архитектурный ансамбль в Самарканде. Складывался в XI—XII веках около мнимой могилы двоюродного брата Мухаммеда — Кусамы, на которого был перенесен домусульманский культ мифического «живого царя» — Шахн-Зинда.

ПОСЛЕДНИЙ ГОД ЕСЕНИНА

Публикуется по изданию: Наседкин В., «Последний год Есенина» (Из воспоминаний), М., «Никитинские субботники», 1927.

¹ Б е н и с л а в с к а я Г а л и н а А р т у р о в н а (1897—1926) — близкий друг С. А. Есенина.

² И м а ж и н и з м — одно из формалистических течений в литературе, возникшее в Англии незадолго до первой мировой войны, в русской поэзии оформилось в 20-е годы. В группу имажинистов вхо-

дили В. Шершеневич, Н. Клюев, А. Мариненгоф и другие, а также С. Есенин в начальный период творчества. Впоследствии порвал с ним.

³ Дункан Айседора (1878—1927) — известная балерина, жена С. А. Есенина.

⁴ «Перевал» — литературная группа, возникшая в Москве в конце 1923 — начале 1924 года при журнале «Красная новь». В периодически выходивших сборниках «Перевала» участвовали А. Веселый, М. Голодный, М. Светлов, впоследствии декларация «Перевала» была подписана более 60 писателями, в том числе И. Катаевым, Э. Багрицким, М. Пришвиным, А. Малышкиным и другими. Декларация была направлена против «бескрылого бытовизма» в литературе и ратовала за сохранение «преемственной связи с художественными мастерами» русской и мировой классической литературы.

Возникла как реакция на «рационализм» левовцев и конструктивистов.

⁵ МАПП — Московская ассоциация пролетарских писателей. Организована в 1923 году. В нее входили группы «Октябрь», «Молодая гвардия», «Рабочая весна». Программа МАПП совпадала с установками журнала «На посту», отсюда название этого литературного течения — «напостовство».

⁶ «Кузница» — литературная группа, существовавшая в 1920—32 гг. Возникла после выхода из «Пролеткульта» группы писателей, выпускающих журнал «Кузница». Руководители «Кузницы» утверждали классовую исключительность пролетарского литературного движения, заявляя о невозможности участия в нем выходцев из других классов.

⁷ Воронский Александр Константинович (1884—1943) — литературный критик, публицист, писатель. В 1921—27 гг. был редактором журнала «Красная новь», тогда же возглавлял издательство «Круг» и редактировал (23—27) журнал «Прожектор».

⁸ Имеется в виду журнал «Красная новь».

⁹ Из стихотворения «Ну, целуй меня, целуй...»

¹⁰ Чагин Петр Иванович (1898—1967) — журналист. В годы знакомства с С. А. Есениным — редактор газеты «Бакинский рабочий». В 1925 году в Баку с предисловием Чагина вышел сборник С. А. Есенина «Русь Советская».

¹¹ Правдухин Валериан Павлович (1892—1939) — русский советский писатель. Родился в станице Таналыкской Орского уезда Оренбургской губернии. Муж Л. Н. Сейфуллиной. Один из организаторов журнала «Сибирские огни».

¹² Евдокимов Иван Васильевич (1887—1941) — писатель, в 1925 году работал в Госиздате, принимал участие в подготовке «Собрания стихотворений» С. А. Есенина. В 1926 году были опубликованы его воспоминания о С. А. Есенине.

¹³ Акульшин Родион Михайлович (1896—1941) — писатель.

Сахаров Александр Михайлович (1894—1952), издательский работник.

¹⁴ Не так давно в архиве С. А. Толстой, летом 1925 года ставшей женой С. А. Есенина, литературовед В. Вдовин обнаружил телеграмму следующего содержания:

«Москву Остоженка Троицкий пер. 3 квар. 8, Ясениным.

Привет любов в деревне с субботы скука как развод из дание отъезд планы Катя милье пишите адрес Берлин Изгнанник».

Долгое время не удавалось раскрыть содержание телеграммы, посланной 29 июня из Башкирии, из Мелсуза, и кем она послана.

С. А. Есениным? Но дата отправления телеграммы исключает такое предположение: достоверно известно, что в этот день С. А. Есенин был в Москве.

Отправителем телеграммы мог быть только В. Ф. Наседкин.

«Необычному подписью «изгнанник», — пишет В. Вдовин, — легко объяснить, если вспомнить, что В. Ф. Наседкин был в то время влюблен в Е. А. Есенину, но поначалу не пользовался взаимностью. «Он (В. Ф. Наседкин — В. В.) что-то прихлестывает за Катькой и не поочь сделаться зятем, но сестру трудно уломать», — писал С. А. Есенин Н. Вержбицкому 6 марта 1925 года. Теперь становится понятным, почему в телеграмме, адресованной Есениным, упоминается имя одной только Екатерины Александровны Есениной — «Катя».

Уехав из Москвы, вдали от любимой В. Ф. Наседкин затосковал — «скука» — и чувствовал себя изгнанником.»

Текст телеграммы во многом будет ясен, если вспомнить, что во второй половине июня, — когда В. Ф. Наседкин был еще в Москве, — С. А. Толстая подала заявление в суд о разводе со своим прежним мужем Сухотиным, чтобы вступить в брак с С. А. Есениным. Зная об этом и будучи одним из самых близких друзей семьи Есениных, Наседкин в телеграмме и спрашивает об этом — «как развод».

Упоминаемое в телеграмме и не совсем понятное «из дание»?

17 июня С. А. Есенин в присутствии Наседкина написал заявление в Госиздат с просьбой издать «собрание стихотворений и поэм», и в телеграмме Наседкин интересовался судьбой издания.

Еще больше смутила последняя часть телеграммы: «пишите адрес Берлин».

Наседкин собирался в Берлин и просил писать ему туда? Или в Берлин собирался Есенин, и Наседкин спрашивал его будущий берлинский адрес?

В. Вдовину удалось распутать и этот узел.

В марте 1925 года С. А. Есенин уехал на Кавказ. В Батуми, после того как его ограбили бандиты и он остался без пальто, он сильно простудился, о чем 8 апреля писал Г. А. Бениславской:

«Когда я очутился без пальто, я очень и очень простудился. Сейчас у меня вроде воспаления надкостницы. Боль ужасная. Вчера ходил к лучшему врачу здесь, но он, осмотрев меня, сказал, что легкие в порядке, но горло с жабой и нужно идти к другому врачу, этажом выше».

Но все оказалось гораздо сложнее, тем более, что С. А. Есенин сам не очень-то заботился о своем здоровье. И в следующем письме Г. А. Бениславской — 11 мая — вынужден был писать:

«Лежу в больнице. Верней, отдыхаю. Не так страшен черт, как его малютки. Только катар правого легкого. Через 5 дней выйду здоровым. Это результат батумской простуды, а потом я по дурости искупался в середине апреля в море при сильном ветре. Вот и получилось. Доктора пели на разный лад. Вплоть до скоротечной чихотки».

Но 11-го письмо он не отправил и 12-го сделал к нему приписку:

«Письмо написал я Вам вчера, когда не было еще консилиума... С легкими действительно что-то неладно. Предписано ехать в Абас-Туман.

Соберите немного денег и пришлите. Я должен скоро ехать туда». Но в Абас-Туман он не поехал, и уже 12 июня писал сестре из Москвы:

«Дорогая Екатерина!

Случилось очень многое, что переменяло и больше всего переменяет мою жизнь. Я женюсь на Толстой и уезжаю с ней в Крым».

Но было и другое намерение — поехать с женой на лечение в Башкирию, к В. Ф. Наседкину — на кумыс.

«Об этих планах С. А. Есенина и спрашивает В. Ф. Наседкин в телеграмме, — считает В. Вдовин, — «отъезд планы». На первый взгляд несколько неожиданными, откровенно чужеродными выглядят заключительные слова телеграммы — адрес, по которому В. Ф. Наседкин просит ему писать: «Катя милые пишите адрес Берлин». Не было даже предположение, чтобы Наседкин намеревался ехать в столицу Германии. Такой адрес можно бы, пожалуй, воспринять как розыгрыш со стороны Наседкина. Но текст телеграммы заставляет усомниться и в таком предположении. Изучение вопроса убедило меня в том, что Наседкин сообщил в телеграмме реальный адрес.

На территории Башкирии уже в то время действовал кумысолечебный курорт Шафраново, ведущим специалистом в котором был П. Ю. Берлин. Намереваясь поехать из деревни на этот курорт, чтобы отдохнуть и поправить свое здоровье, В. Ф. Наседкин и сообщает Есениным условно сокращенно: «адрес Берлин» (то есть курорт Шафраново). Необычный для постороннего человека, такой адрес был хорошо понятен Есенину, его родным и близким, интересовавшимся в то время Берлиным как крупным специалистом кумысолечения».

В это время с Кавказа по служебным делам в Москву приехал П. И. Чагин, зашел к Есениным в гости, и, узнав о здоровье С. А. Есенина, пригласил его на Кавказ, там он обещал создать самые лучшие условия для лечения. Предполагавшаяся поездка в Башкирию была отложена, тем более, что состояние здоровья С. А. Есенина несколько улучшилось, и 25 июля с С. А. Толстой-Есениной он выехал в Баку.

¹⁶ Из стихотворения «Гори, звезда моя, не падай...»

¹⁶ Из стихотворения «Да! Теперь решено. Без возврата...»

¹⁷ Орешин Петр Васильевич (1887—1938) — поэт.

¹⁸ Мариенгоф Анатолий Борисович (1897—1962) — поэт, один из основоположников русского имажинизма.

¹⁹ Клюев Николай Алексеевич (1887—1937) — поэт. Взаимоотношения С. А. Есенина с Клюевым были гораздо сложнее, несколько раз он порывал с ним.

²⁰ Райх Зинаида Николаевна (1894—1939) — актриса, жена С. А. Есенина.

²¹ Ионов (псевдоним Бернштейна Ильи Ионовича; 1887—1942) — поэт, издательский работник.

²² Текст стихотворения не известен, сходные строчки в своих воспоминаниях приводит С. А. Толстая-Есенина.

СОДЕРЖАНИЕ

М. Чванов. «То, что соединяет людей, не размывает время...»

Стихи

Сенокос	19
Слушая тальянку	19
«Только ночь убирает...»	20
«Небо — сизое, осеннее...»	20
После бурана	21
«Звени и пой, разлив песчаный»	22
Чайхана	23
Тамерлановы ворота	24
Перелет	26
Круговорот	27
12 марта 17-го года	28
Весна	29
Овражные песни	29
«У синего порога вечеров...»	30
«Багровый ответ — новое звено...»	31
Апрельский дождь	32
«Был простой, обычный день весенний...»	32
«В детстве было просто и понятно...»	33
Гнедые стихи	34
«Свиней угнали...»	35
«Март...»	36
Улица	37
«Как спешат облака, как спешат!»	38
Прощание	40
«Цыганскою шалью»	40
Из вагона	42
«Сегодня ветер странно мглист...»	42
«Тучи — гнилая солома...»	43
Обоз	44
«Как будто из моих очей...»	45
На Новый год	46
Мороз	47
Снег	48
«В городе вьюга»	49
Журавли	50
«О, милый друг, оставь весло...»	50
«Ты целуешь, а я плачу...»	51
«Свежей...»	51
«Ручей весь день хлопочет»	51
«Будут радовать вечно...»	52
«Иду, пьянея от травы...»	53

«Закачалась ива...»	53
«Если вьется дым над хатой...»	54
«Ты здесь ждала меня, награда!»	55
«Степная речка в камышах...»	55
«Лист опадает за листом...»	56
«О родное, любимое поле!»	56
Осень	57
«Где ты, где ты, нищая котомка?»	58
«В пустыне ничего не нужно...»	58
Степь	59
Ночная дорога	60
Кресты	61
«Пахнет ветер, как свежие срубы...»	63
«Этот облак в отдалении...»	63
«Где синие вихри...»	64
Утро совхоза	65
Сентябрьский вечер	66
«В поле голос чей-то...»	67
«Свод небес уныл и грязен...»	68
«Смотрю усталый от погонь...»	69
К новому урожаю	70
Отрывок	71
«Высокое небо...»	73
Туманный день	73
Предзимье	74
Хороший день	75
Индийское лето	76
Закат	77
Поезда	78
К сыну Андрею	81
Оттепель	82
Первомайская песня	82
«Уж как дует с юга сильный ветер!»	84
«День построжал, угрюм и одинок»	85
«Тот берег кажется в пыли...»	86
«Сегодня все, как пальцы, врозь...»	87
«В ночную муть, туда, где рыщет тьма...»	87
«Уж время звезд неполных...»	88
«И эти сборы к выезду не впрок...»	88
«Какой веселый, легкий небосвод!»	88
«Ночь звездная задумчиво тиха...»	88
«Рукой невидимой, младенчески неловкой...»	89
«Темный север дышит дальней вьюгой...»	89
Перед картой	89
«Поезд мчался в широких азийских степях...»	91
«Серым шелком висят облака»	92
«По жару дневной жестоко...»	92
«Вижу, осторожно в палисадник...»	93
«Все заносит, все хоронит...»	93
Дождь	93
«Я был разбужен шорохом...»	94
«По обычаю, встал на рассвете...»	94
Буря	95
Москва 1 Мая	96

У памятника Ленину	96
«В небе солнце, гром и воды...»	97
«Вот здесь когда-то над водой...»	97
«Красные качнулись прутья где-то...»	98
Встреча	98
«Зима куда-то скрылась...»	99
«По звездным заводам одна...»	100
Песенка о любимой...	100
«Цвет волос, как зелень луга...»	101
Перед бурей	102
Арбакеш	102
«Кружится пьяно...»	103
Самарканду	104
На верблюдах	104
«Сталактитовые своды...»	105
Сюзане	105
«Голова у шатров Бухары...»	106
«Велик и многомилостив аллах»	107
За глиняным дувалом	107
Полдень	107
«Так с незапамятных времен...»	108
Степь	109
«Город, город!»	110
Зимнее небо	111
«Снова север, снова тучи...»	113
«Вьюжные крики...»	113
«Все утро солнце, ветер, а сторонкой...»	114
«Свети мне, детство! Радуй, как свиданье!»	114
«Что это? Шорох прибора?»	114
«Белеет рожь. Сняют перелески...»	115
Вокзал	115
Назавтра бой	116
Чужие корабли	118
8-е Марта	120
Стройка	121
«В просветах голубых стволов...»	122
«Синью теплою крадась...»	123
«Кто пожелает мне счастья...»	124
«Ребенок — я — и степь, как бубенец...»	124
«Кто плачет там?» — спросил со дна оврага»	125
«Сегодня краски ниже и бледней...»	125
«Вражду и дружбу обойдя...»	125
«И мирный свет, и шорох древней воли...»	125
«Не унесу я радости земной...»	126

Последний год Есенина

Последний год Есенина	127
Примечания	153

Василий Федорович Наседкик

Ветер с поля

СТИХИ, ВОСПОМИНАНИЯ

Оформление серии Г. Прокшина

Редактор Г. А. Зайцев
Художественный редактор А. А. Астраханцев
Художник А. Г. Королевский
Технический редактор Н. Г. Файзуллина
Корректоры Н. Р. Тикеев, Л. Г. Останина

Сдано в набор 16/XI 1977 г. Подписано к печати 26/I-1978 г.
Формат бумаги 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 3.
Условн.печ.л.8.40. Учетн.-издат. л. 7.40
Тираж 50000. Заказ № 280.
Цена 80 коп.

ИБ № 622

Башкирское книжное издательство, Уфа-25, ул. Советская, 18. Уфимский полиграфкомбинат Управления по делам издательств, полиграфии и книжной торговли Совета Министров БАССР. Уфа-1, проспект Октября, 2.

Scan Kreyder - 01.09.2019 - STERLITAMAK

Цена 80 коп.